

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Борис Житков



рассказы

«БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА», «ПРО ВОЛКА»,
«НА ЛЬДИНЕ», «КАК Я ЛОВИЛ ЧЕЛОВЕЧКОВ»,
«ПРО ОБЕЗЬЯНКУ», «МЕХАНИК САЛЕРНО»,
«ГАЛКА», «ПУДЯ», «ПРО СЛОНА» И ДРУГИЕ...

Annotation

В книге одного из основателей русской детской литературы собраны такие простые и понятные Рассказы, как "На льдине", "Беспризорная кошка", "Почта", "Мангуста", "Джарылгач", "Галка", "Как я ловил человечков" и многие другие. Они пронизаны любовью ко всему миру. Быть добрым, помогать слабым и беззащитным, заботиться о них — в этом видит автор предназначение человека на Земле.

Художник: Черноглазов В.

- [Борис Степанович Житков](#)
 -
 - [ПОЧТА](#)
 - [ГАЛКА](#)
 - [КАК Я ЛОВИЛ ЧЕЛОВЕЧКОВ](#)
 - [ПУДЯ](#)
 - [ПРО ОБЕЗЬЯНКУ](#)
 - [БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА](#)
 - [МАНГУСТА](#)
 - [ПРО СЛОНА](#)
 - [ПРО ВОЛКА](#)
 - [ТИХОН МАТВЕИЧ](#)
 - [«СИЮ МИНУТУ-С!..»](#)
 - [ДЖАРЫЛГАЧ](#)
 - [МЕХАНИК САЛЕРНО](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Борис Степанович Житков

Рассказы





НА ЛЬДИНЕ

Зимой море замёрзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лёд ловить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко.

И куда кругом ни глянь, всё лёд и лёд: это так замёрзло море. Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженой рыбы лежали на льду. Володин папа сказал:

— Довольно, пора по домам.

Но все стали просить, чтобы остаться ночевать и с утра снова ловить. Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к отцу, чтоб было теплей, и крепко заснул.

Вдруг ночью отец вскочил и закричал:

— Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! Не было бы беды!

Все вскочили, забегали.

— Почему нас качает? — закричал Володя.

А отец крикнул:

— Беда! Нас оторвало и несёт на льдине в море.

Все рыбаки бегали по льдине и кричали:

— Оторвало, оторвало!

А кто-то крикнул:

— Пропали!

Володя заплакал. Днём ветер стал ещё сильнее, волны набегали на льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на конце красную рубаху и поставил, как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть, ни пить. А Володя лежал в санях и смотрел в небо: не глянет ли солнышко. И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолёт и закричал:

— Самолёт! Самолёт!

Все стали кричать и махать шапками. С самолёта упал мешок. В нём была еда и записка: «Держитесь! Помощь идёт!»



Через час пришёл пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход и самолёт. Лётчик нашёл рыбаков и по радио сказал капитану парохода, куда идти.

ПОЧТА

На Севере, где живут ненцы, даже весной, когда уже всюду стаял снег, всё ещё стоят морозы и бывают сильные метели.

Вот раз весной ненецкий почтальон должен был везти почту из одного ненецкого села в другое. Недалеко — всего тридцать километров.

У ненцев очень лёгкие санки — нарты. В них они запрягают оленей. Олени мчат вихрем, быстрее всяких лошадей.

Почтальон вышел утром, посмотрел на небо, помял рукой снег и подумал:

«Будет метель с полдня. А я сейчас запрягу и успею проскочить раньше метели».

Он запряг четырёх лучших своих оленей, надел на себя малицу — меховой халат с капюшоном, меховые сапоги и взял длинную палку. Этой палкой он будет погонять оленей, чтоб они шибче бежали.

Почтальон привязал почту покрепче к нартам, вскочил на сани, сел бочком и пустил оленей во весь дух.

Он уже выезжал из села, как вдруг навстречу — его сестра. Она замахала руками и крикнула:

— Стой!

Почтальон рассердился, а всё-таки остановил. Сестра стала просить почтальона, чтоб он захватил с собой её дочку к бабушке.

Почтальон крикнул:

— Скорей! А то метель будет.

Но сестра долго провозилась, пока кормила и собирала девочку. Почтальон посадил девочку перед собой, и олени помчались. А почтальон ещё подгонял их, чтобы успеть проехать до метели.

С полпути начал дуть ветер — прямо навстречу. Было солнце, и снег блестел, а тут вдруг стемнело, снег закружился и не стало даже видно передних оленей.

Олени начали вязнуть в снегу и остановились.

Почтальон отпряг оленей, сани поставил стоймя, привязал к ним свою длинную палку, а к концу палки привязал девочкин пионерский галстук. А сам обтоптал место около саней, положил туда почту, уложил оленей, лёг и прижался к ним с девочкой. Их скоро занесло снегом, а почтальон раскопал под снегом пещеру, и вышло как снежный дом. Там было тихо и тепло.

А в том селе, куда ехал почтальон, увидели, что метель, а его нет, и спросили по телефону, выехал ли он. И все поняли, что почтальона захватила метель. Ждали, когда метель пройдёт.

На другой день метель всё не утихла, но снег летал ниже. На оленях нельзя было ехать искать почтальона, проехать могли только аэросани. Они — как домик на полозьях, а бегут вперёд потому, что у них есть мотор. Мотор вертит воздушный винт, такой, как у самолёта.

В аэросани сели доктор, шофёр и два человека с лопатами. И аэросани побежали по той дороге, где ехал почтальон.

Вдруг над низкой метелью, как будто флаг из воды, увидели палку с пионерским галстуком.

Аэросани подъехали и остановились. Сейчас же раскопали почтальона, девочку и оленей.

Почтальон сразу спросил:

— А еду привезли? Девочка плачет.

— Даже горячую, — сказал доктор и отнёс девочку в аэросани.

Пока почтальон и девочка обогривались, прошла метель.

ГАЛКА

У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала.

Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, — поглядела: где колечко? А колечка нет.

Она крикнула брату:

— Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?

— Ничего я не брал, — ответил брат.

Сестра поссорилась с ним и заплакала.

Бабушка услышала.

— Что у вас тут? — говорит. — Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду.

Бросились искать очки — нет очков.

— Только что на стол их положила, — плачет бабушка. — Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену?

И закричала на мальчика:

— Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?

Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит, а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся — да это очки! Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:

— Говори, где мои очки?

— На крыше! — сказал мальчик.

Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко. А потом достал стёклышек, а потом разных денежек много штук.



Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку и сказала брату:
— Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка.
И помирилась с братом.
Бабушка сказала:
— Это всё они, галки да сороки. Что блесит, всё тащат.

КАК Я ЛОВИЛ ЧЕЛОВЕЧКОВ

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулём винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне всё позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

— Вот это уж не проси. Не то играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать, — не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснёшься. А то лучше спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное-расчестное, бабушка! — И схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала пароходика.

Я всё смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И всё больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И наверно, в нём живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, поглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты. А чуть шум — как мыши: юрк в каюту. Вниз — и притаются. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я прятался за дверь и глядел в щёлку. А они хитрые, человечки, знают, что я поглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать.

Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно парходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка:

— Чего ты всё ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают.

Это я наврал: дома ночью темно.

Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но всё же было видно, как блестел парходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на парходике мне всё стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился — шорох этот на парходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание спёрло. Я чуть двинулся вперёд. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на парходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щёлочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они её в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы всё вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, всё равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда ни сюда. Пусть убегут, а всё равно видно будет, как они конфетину тащили.

А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на парходе на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась, раз-два — на стол ногами, и положил леденец у самой дверки на парходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затёр, что ногами наследил.

Бабушка ничего не заметила.

Днём я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик. Леденец, как был, — на месте. Ну да! Дураки они днём братья за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонёк и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел — топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — всё подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них на пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днём там сидят рядком и тихонечко шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я всё время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходнику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками. Я не мог больше терпеть.

И вот я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Всё к каким-то старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязанные и натёр себе и лоб и щёки — всё лицо, одним словом. Не жалея. И тихонько прилёг на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Борюшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лёг?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору!

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и всё приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернётся?

Вдруг забыла там что-нибудь? А потом я вскочил с постели как был, в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу, руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил их пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо.



Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с парходика, чтоб не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно всё заделано!

Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти верёвочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу

делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щёлку, чтобы пролезть одному. Он ползет, а я его — хлоп! — и захопну, как жука в ладони.

Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу туда в середку рукой — прихлопнуть. Хоть один, да попадётся. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в стороны. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего.

У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Всё криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало.

Я кой-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь всё пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я. — Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

— Да чего ты ревьешь да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она ещё не видала пароходика.

ПУДЯ

Теперь я большой, а тогда мы с сестрой были ещё маленькие.

Вот раз приходит к отцу какой-то важный гражданин. Страшно важный. Особенно шуба. Мы подглядывали в щёлку, пока он в прихожей раздевался. Как распахнул шубу, а там жёлтый пушистый мех, и по меху всё хвостики, хвостики... Черноватенькие хвостики. Как будто из меха растут. Отец раскрыл в столовую двери:

— Пожалуйста, прошу.

Важный — весь в чёрном, и сапоги начищены. Прошёл, и двери заперли.

Мы выкрались из своей комнаты, подошли на цыпочках к вешалке и гладим шубу. Щупаем хвостики. В это время приходит Яшка, соседний мальчишка, рыжий. Как был, в валенках впёрся и в башлыке.

— Вы что делаете?

Таня держит хвостик и спрашивает тихо:

— А как по-твоему: растёт так из меху хвостик или потом приделано?

А Рыжий орёт, как во дворе:

— А чего? Возьми да попробуй.

Таня говорит:

— Тише, дурак: там один важный пришёл.

Рыжий не понимает:

— А что такое? Говорить нельзя? Я не ругаюсь.

С валенок снег не сбил и следит мокрым.

— Возьми да потяни, и будет видать. Дура какая! Видать бабу... Вот он так сейчас. — И Рыжий кивнул мне и мигнул лихо.

Я сказал:

— Ну да, баба, — и дёрнул за хвостик.

Не очень сильно потянул: только начал. А хвостик — пак! — и оторвался.

Танька ахнула и руки сложила. А Рыжий стал кричать:

— Оторвал! Оторвал!

Я стал совать скорей этот хвостик назад в мех: думал, как-нибудь да пристанет. Он упал и лёг на пол. Такой пушистенский лежит. Я схватил его, и мы все побежали к нам в комнату.

Танька говорит:

— Я пойду к маме, реветь буду — ничего, может, и не будет.

Я говорю:

— Дура, не смей! Не говори. Никому не смей!

Рыжий смеётся, проклятый. Я сую хвостик ему в руку:

— Возьми, возьми, ты же говорил...

Он руку отдернул:

— Что ж, что говорил! А рвал-то не я! Мне какое дело!

Подтёр варежкой нос — и к двери.

Я Таньке говорю:

— Не смей реветь, не смей! А то сейчас спрашивать начнут, и всё пропало.

Она говорит и вот-вот заревёт:

— Пойдём посмотрим, может быть, незаметно? Вдруг незаметно?

Я держал хвостик в кулаке. Мы пошли к вешалке. И вот всё ровно-ровно идут хвостики, довольно густовато, а тут пропуск, пусто. Видно, сразу видно, что не хватает.

Я вдруг говорю:

— Я знаю: приклеим.

А клей у папы на письменном столе, и если будешь брать, то непременно спросят: зачем? А потом, там в кабинете сидит этот важный, и входить нельзя.

Танька говорит:

— Запрячем, лучше запрячем, только скорей! Подальше, в игрушки.

У Таньки были куклы, кукольные кровати. Нет, туда нельзя. И я засунул хвостик в поломанный паровоз, в середину.

Мы взяли за кукол и очень примерно играли в гости, как будто бы на нас всё время кто смотрит, а мы показываем, как мы хорошо играем.

В это время слышим голоса. Важный гудит басом. И вот уж они в прихожей, и горничная Фрося затопала мимо и говорит скоренько:

— Сейчас, сейчас шубу подам.

Мы так с куклами и замерли, еле руками шевелим.

Таня дрожит и бормочет за куклу:

— Здравствуйте! Как вы поживаете? Сколько вам лет? Как вы поживаете? Сколько вам лет?

Вдруг дверь к нам отворяется: отец распахнул.

— А вот это, — говорит, — мои сорванцы.

Важный стоит в дверях, чёрная борода круглая, мелким барашком, и улыбается толстым лицом:

— А, молодое поколение!

Ну, как все говорят.

А за ним стоит Фроська и держит шубу нараспашку. Отец нахмурился, мотнул нам головой.

Танька сделала кривой реверанс, а я что было силы шаркнул ножкой.

— Играете? — сказал важный и вступил в комнату.

Присел на корточки, взял куклу. И я вижу: в дверях дура Фроська стоит и растянула шубу, как будто нарочно распялила, и показывает. И это пустое место без хвостика так и светит. Важный взял куклу и спрашивает:

— А эту барышню как же зовут?

Мы оба крикнули в один голос:

— Варя!

Важный засмеялся:

— Дружно живёте.

И видит вдруг — у Таньки слёзы на глазах.

— Ничего, ничего, — говорит, — я не испорчу.

И скорей подал пальчиками куклу. Поднялся и потрепал Таню по спине. Он пошёл прямо к шубе, но смотрел на отца и не глядя стал попадать в рукава. Запахнул шубу; Фроська подсовывает глубокие калоши.

Не может быть, чтобы отец не заметил. Но отец очень весёлый вошёл к нам и сказал смеясь:

— Зачем же конём таким?

И представил, как я шаркнул.

В этот день мы с Танькой про хвостик не говорили. Только когда пили вечером чай, то всё переглядывались через стол, и оба знали, что про хвостик. Я даже раз, когда никто не глядел, обвёл пальцем на скатерти как будто хвостик. Танька видела и сейчас же уткнулась в чашку.

Потом мне стало весело. Я поймал Ребика, нашу собаку, зажал его хвост в кулак, чтоб из руки торчал только кончик, и показал Таньке. Она замахала руками и убежала.

На другой день, как проснулся, вспомнил сейчас же хвостик. И стало страшно: а ну как важный только для важности в гостях и не глядит даже на шубу, а дома-то небось каждый хвостик переглаживает? Даже, наверно, наизусть знает, сколько их счётом. Гладит и считает: раз, два, три, четыре... Вскочил с постели, подбежал к Таньке и шепчу ей под одеяло в самое ухо:

— Он, наверное, дома пересчитает хвостики и узнает. И пришлёт сюда человека с письмом. А то сам приедет.

Танька вскочила и шепчет:

— Чего ж там считать, и так видно: вот такая пустота! — И обвела пальцем в воздухе большой круг.

Мы на весь день притихли и от каждого звонка прятались в детскую и у дверей слушали: кто это, не за хвостиком ли?

Несколько дней мы так боялись.

А потом я говорю Таньке:

— Давай посмотрим.

Как раз никого в квартире не было, кроме Фроськи. Заперли двери, и я тихонько вытянул из паровоза хвостик. Я и забыл, какой он хорошенький, пушистенный.

Таня положила его к себе на колени и гладит.

— Пудя какой, — говорит. — Это собачка кукольная.

И верно. Хвостик в паровозе загнулся, и совсем будто собачка свернулась и лежит с пушистым хвостом.

Мы сейчас же положили его на кукольный диван, примерили. Ну и замечательно!

Танька закричала:

— Брысь, брысь сейчас! Не место собакам на диване валяться!

И скинула Пудю. А я его Варьке на кровать. А Танька:

— Кыш, кыш! Вон, Пудька! Блох напустишь...

Потом посадили Пудю Варьке на колени и любовались издали: совсем девочка с собачкой.

Я сейчас же сделал Пуде из тесёмочки ошейник, и получилось совсем как мордочка. За ошейник привязали Пудю на верёвочку и к Варькиной руке. И Варьку водили по полу гулять с собачкой.

Танька кричала:

— Пудька, тубо!

Я сказал, что склею из бумажек Пуде намордничек.

У нас была большая коробка от гильз. Сделали в ней дырку. Танька намостила тряпок, и туда посадили Пудю, как в будку. Когда папа позвонил, мы спрятали коробку в игрушки. Забросали всяким хламом. Приходил к нам Яшка Рыжий, и мы клали Пудю Ребику на спину и возили по комнате — играли в цирк.

А раз, когда Рыжий уходил, он нарочно при всех стал в сенях чмокать и звать:

— Пудя! Пудька! — И хлопал себя по валенку.

Прибежал Ребик, а Яшка при папе нарочно кричит:

— Да не тебя, дурак, а Пудю. Пудька! Пудька!

Папа нахмурился:

— Какой ещё Пудька там? — И осматривается.

Я сделал Яшке рожу, чтобы уходил. А он мигнул и язык высунул.

Ушёл всё-таки.

Мы с Таней сговорились, что с таким доносчиком не будем играть и водиться не будем. Пусть придёт — мы в своей комнате закрёмся и не пустим. Я забил сейчас же гвоздь в притолоку, чтобы завязывать верёвкой ручку. Я завязал, а Таня попробовала из прихожей. Здорово держит. Потом Танька запиралась, а я ломился: никак не открыть. Как на замке. Родовались, ждали — пусть только Рыжий придёт.

Я Пуде ниточкой замотал около кончика, чтобы хвостик отделялся. Мы с Таней думали, как сделать ножки, — тогда совсем будет живой.

А Рыжий на другой же день пришёл. Танька прибежала в комнату и шёпотом кричит:

— Пришёл, пришёл!

Мы вдвоём дверь захлопнули, как из пушки, и сейчас же на верёвочку. Вот он идёт... Толкнулся... Ага! Не тут-то было. Он опять.

— Эй, пустите, чего вы?

Мы нарочно молчим. Он давай кулаками дубасить в дверь:

— Отворяй, Танька!

И так стал орать, что пришла мама:

— Что у вас тут такое?

Рыжий говорит:

— Не пускают, черти!

— А коли черти, — говорит мама, — так зачем же ты к чертям ломишься?

— А мне и не их вовсе надо, — говорит Рыжий, — я Пудю хочу посмотреть.

— Что? — мама спрашивает. — Пудю? Какого такого?

Я стал скорей отматывать верёвку и раскрыл дверь.

— Ничего, — кричу, — мама, это мы так играем! Мы в Пудю играем. У нас игра, мама, такая...

— Так орать-то на весь дом зачем? — И ушла.

Рыжий говорит:

— А, вы, дьяволы, вот как? Запираться? А я вот сейчас пойду всем расскажу, что вы хвостик оторвали. Человек пришёл к отцу в гости. Может, даже по делу какому. Повесил шубу, как у людей, а они рвать, как собаки. Воры!

— А кто говорил: «Дёрни, дёрни»?

— Никто ничего и не говорил вовсе, а если каждый раз по хвостику да по хвостику, так всю шубу выщипаете.

Танька чуть не ревет.

— Тише, — говорит, — Яша, тише!

— Чего тише? — кричит Рыжий. — Чего мне тише? Я не вор. Пойду и скажу.

Я схватил его за рукав.

— Яша, — говорю, — я тебе паровоз дам. Это ничего, что крышка отстала. Он ходит полным ходом, ты же знаешь.

— Всякий хлам мне суешь, — заворчал Рыжий.

Но хорошо, что кричать-то перестал. Потом поднял с пола паровоз.

— Колесо, — говорит, — проволокой замотал и тычешь мне.

Посопел, посопел...

— С вагоном, — говорит, — возьму, а так — на чёрта мне этот лом!

Я ему в бумагу замотал и паровоз и вагон, и он сейчас же ушёл через кухню, а в дверях обернулся и крикнул:

— Всё равно скажу, хвостодёры!

Потом мы с Таней гладили Пудю и положили его спать с Варькой под одеяло. Танька говорит:

— Чтоб ему теплей было.

Я сказал Таньке, что Рыжий всё равно обещал сказать. И мы всё думали, как нам сделать. И вот что выдумали.

Самое лучшее попасть бы в такое время, когда папа будет весёлый, — после обеда, что ли. Положить Пудю на платочек на носовой, взять за четыре конца и войти в столовую каким-нибудь смешным вывертом. И петь что-нибудь смешное при этом. Как-нибудь:

Пудю несём,
Пахнем гусём.

И ещё там что-нибудь. Все засмеются, а мы ещё больше запоём — и к папе. Папа: «Что это вы, дураки?» — и засмеётся. А тут мы как-нибудь кривульно расскажем, и всё сойдёт. Папе, наверно, даже жалко будет отбирать от нас Пудю.

Или вот ещё: на Ребика положим и вывезем. И тоже смешное будем петь. Рыжий придёт ябедничать, а всё уж и без него знают, и ничего не было. Запрёмся, как тогда, и пускай скандалит. Мама его за ухо выведет, вот и всё.

Я ещё в кровати думал, что я устрою Яшке Рыжему.

Утром мы все пили чай. Вдруг вбегает Ребик, рычит и что-то в зубах треплет. Папа бросился к нему:

— Опять что-нибудь! Тубо, тубо! Дай сюда!

А я сразу понял — что, и в животе похолодело.

Папа держит замусоленный хвостик и, нахмурясь, говорит:

— Что это? Откуда такое?

Мама поспешила, взяла осторожно пальчиками. Ребик визжит, подскакивает, хочет схватить.

— Тубо! — крикнул папа и толкнул Ребика ногой.

Поднесли к окну, и вдруг мама говорит:

— Это хвостик. Это от шубы.

Папа вдруг как будто задохнулся сразу и как крикнет:

— Это чёрт знает что такое!..

Я вздрогнул. А Танька всхлипнула — она с булкой во рту сидела. Папа затопал к Ребику:

— Эту собаку убить надо! Это дьявол какой-то!

Ребик под диван забился.

— Раз уж пришлось за штаны платить... Ах ты дрянь эдакая! Теперь шубы, за шубы взялся!..

И папа вытянул за ошейник Ребика из-под дивана. Ребик выл и корчился. Знал, что сейчас будут бить. Танька стала реветь в голос. А отец кричит мне:

— Принеси ремень! Моментально!

Я бросился со стула, совался по комнатам.

— Моментально! — заорал отец на всю квартиру злым голосом. — Да свойними, болван! Живо!

Я снял пояс и подал отцу. И папа стал изо всей силы драть ремнём Ребика. Танька выбежала. Папа тычет Ребика носом в хвостик — он на полу валялся — и бьёт, бьёт:

— Шубы рвать! Шубы рвать! Я те дам шубы рвать!

Я даже не слышал, что ещё там папа говорил, — так орал Ребик, будто с него живого шкуру сдирают. Я думал, вот умрёт сейчас. Фроська в дверях стояла, ахала.

Мама только вскрикивала:

— Оставь! Убьёшь! Николай, убьёшь! — Но сунуться боялась.

— Верёвку! — крикнул папа. — Афросинья, верёвку!

— Не надо, не надо, — говорит Фроська.

Папа как крикнет:

— Моментально!

Фроська бросилась и принесла бельевую верёвку.

Я думал, что папа сейчас станет душить Ребика верёвкой. Но папа

потащил его к окну и привязал за ошейник к оконной задвижке. Потом поднял хвостик, привязал его на шнурок от штор и перекинул через оконную ручку.

— Пусть видит, дрянь, за что драли. Не кормить, не отвязывать.

Папа был весь красный и запыхался.

— Эту дрянь нельзя в доме держать. Собачникам отдам сегодня же! — И пошёл мыть руки. Глянул на часы. — А, черт! Как я опоздал! — И побежал в прихожую.

Пудю Ребик всего заслюнявил, он был мокрый и взъерошенный, и как раз поперёк живота туго перехватил его папа шнурком. Он висел вниз головой, потому что видно было сверху перехват хвостика, который я там намотал из ниток. Если б отец тогда хорошенько разглядел, так увидал бы всё и догадался бы, что всё это не без нас. Да и теперь всё равно могут увидеть. Как станут важному назад отсылать хвостик, начнут его чистить — вдруг нитки. Откуда нитки? А уж Ребика всё равно побили...

Я сказал Таньке, чтобы украла у мамы маленькие ногтяные ножнички, улучил время, влез на подоконник и тихонько ножничками обрезал нитки. Всё-таки осталось вроде шейки, и я распушил там шерсть, чтоб ничего не было заметно.

Ребик подвывал, подрагивал и всё лизал задние лапы. Мы с Танькой сели к нему на пол и всё его ласкали. Танька приговаривает:

— Ребинька, миленький, били тебя! Бедная моя собака!

Стала реветь. И я потом заревел.

— Отдадут, — говорю, — собачникам. Папа сказал, что отдаст. На живодёрню.

И представилось, как придёт собачник, накинёт Ребичке петлю на шею и потянет. Как ни упирайся, всё равно потянет. А потом так, на петле, с размаху — брык в фургон со всей силы. А там на живодёрне будут резать. Для чего-то там живых режут, мне говорили.

Потом мы у Фроськи выпросили мяса, — Танька под юбкой мимо мамы пронесла, — и скормили Ребику. А зачем ему есть? Ведь так только, всё равно на живодёрню.

И мы с Танькой говорили:

— Мы за тебя просить будем, мы на коленки станем и будем плакать, чтоб папа не отдавал.

И это всё потому, что Танька выдумала к Варьке подложить Пудю.

А Варькина кровать стояла на полу, в углу, на бумажном коврикe. Вот Ребик и нанюхал Пудю.

Принесли мы ему пить. Он лакнул два раза и бросил. Танька заревела:

— Он чует, чует!

А я стал ей про живодёрню рассказывать. Я сам не знал, а так прямо говорю:

— Двое держат, а один режет — И показал на Ребика рукой, как режут. Танька залилась.

— Я скажу, я скажу, что мы!.. Скажем... Хоть на коленки станем, а скажем.

И всё ревёт, ревёт... Я сказал:

— Скажем, скажем. Только чтоб Ребика не отдавали. Не дадим.

И мы так схватились за Ребика, что он взвизгнул.

А время обеда приближалось, и вот уж скоро должен прийти папа со службы. Мама вернулась из города с покупками.

— Не сидите на грязном полу. И не возитесь с собакой — блох напустит.

Мы встали и уселись на подоконнике над Ребичкой и всё смотрели на дверь в прихожую. Решили, как папа придёт, сейчас же просить, а то потом не выйдет. Таньку послали мыть заплаканную морду. Она скоро: раз-два, и сейчас же прибежала и села на место. Я тихонько гладил Ребика ногой, а Танька не доставала. На стол уже накрыли, свет зажгли и шторы спустили. Только на нашем окне оставили: на шнурке папа повесил Пудю, и никто не смел тронуть.

Позвонили. Мы знали, что папа. У меня сердце забилося. Я говорю Таньке:

— Как войдёт, сейчас же на пол, на колени, и будем говорить. Только вместе, смотри. А не я один. Говори: «Папа, прости Ребика, это мы сделали!»

Пока я её учил, уж слышу голоса в прихожей, очень весёлые, и сейчас же входит важный, а за ним папа.

Важный сделал шаг и стал улыбаться и кланяться. Мама к нему спешила навстречу. Я не знал, как же при важном — и вдруг на колени? И глянул на Таньку. Она моментально прыг с подоконника, и сразу бац на коленки, и сейчас же в пол головой, вот как старухи молятся. Я соскочил, но никак не мог стать на колени. Все глядят, папа брови поднял.

Танька одним духом, скороговоркой:

— Папа, прости Ребика, это мы сделали!

И я тогда скорей сказал за ней:

— Это мы сделали.

Все подошли:

— Что, что такое?

А папа улыбается, будто не знает даже, в чём дело.
Танька всё на коленках и говорит скоро-скоро:
— Папочка, миленький, Ребичка миленького, пожалуйста, миленький,
миленького Ребичка... не надо резать...



Папа взял её под мышки:
— Встань, встань, дурашка!
А Танька уже ревёт — страшная рёва! — и говорит важному:
— Это мы у вас хвостик оторвали, а не Ребик вовсе.
Важный засмеялся и оглядывается себе на спину:
— Разве у меня хвост был? Ну вот спасибо, если оторвали.
— Да видите ли, в чём дело, — говорит папа, и всё очень весело, как
при гостях, — собака вдруг притаскивает вот это. — И показывает на
Пудю. И стал рассказывать.

Я говорю:

— Это мы, мы!

— Это они собаку выгораживают, — говорит мама.

— Ах, милые! — говорит важный и наклонился к Таньке.

Я говорю:

— Вот ей-богу — мы! Я оторвал. Сам.

Отец вдруг нахмурился и постучал пальцем по столу:

— Зачем врёшь и ещё божишься?

— Я даже хвостик ему устроил, я сейчас покажу. Я там нитками замотал.

Сунулся к окну и назад: я вспомнил, что нитки я обрезал.

Отец:

— Покажи, покажи. Моментально! Важный тоже сделал серьёзное лицо.

Как хорошо было, всё бы прошло. Теперь из-за ниток этих...

— Яшка, — говорю я, — Яшка Рыжий видел, — и чуть не плачу.

А папа крикнул:

— Без всяких Яшек, пожалуйста! Достать! Моментально! — И показал пальцем на Пудю.

Важный уже повернулся боком и стал смотреть на картину. Руки за спину.

Я полез на окно и рвал и кусал зубами узел. А папа кричал:

— Моментально! — и держал палец. Таньку мама уткнула в юбку, чтоб не ревела на весь дом.

Я снял Пудю и подал папе.

— Простите, — вдруг обернулся важный, — да от моей ли ещё шубы? — И стал вертеть в пальцах Пудю. — Позвольте, это что же? Что тут за тесёмочки?

— Намордничек! — крикнула Танька из маминой юбки.

— Ну вот и ладно! — крикнул важный, засмеялся и схватил Таньку под мышки и стал кружить по полу: — Тра-бам-бам! Трум-бум-бум!

— Ну, давайте обедать, — сказала мама.

Уж сколько тут рёву было!..

— Отвяжи собаку, — сказал папа.

Я отвязал Ребика. Папа взял кусок хлеба и бросил Ребику:

— Пиль!

Но Ребик отскочил, будто в него камнем кинули, поджал хвост и, согнувшись, побежал в кухню.

— Умой поди свою физию, — сказала мама Таньке, и все сели обедать.

Важный Пудю подарил нам, и он у нас долго жил. Я приделал ему ножки из спичек. А Яшке, когда мы играли в снежки, мы с Танькой набили за ворот снегу.

Пусть знает!

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть «обезьянка». Не таковский я!

— Ладно, — говорю, — знаем.

— Нет, — говорит, — в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Её Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я всё ещё не верил. «Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет?» И всё спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь. Не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки чёрные. Как будто человечьи руки в перчатках чёрных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди! Что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» — и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул её в шинель, за пазуху.

— Идём, — говорит.

Я глазам своим не верил. Идём по улице, несём такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить:

— Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты — беда. Дорвётся — непременно обожрётся. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрёт, а чай пить не станет.

Я всё слушал и думал: я ей и трёх кусков не пожалею, миленькая

такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты, — говорю, — хвост отрезал ей под самый корень?

— Она макака, — говорит Юхименко, — у них хвостов не растёт.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто ещё ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками — и на буфет. Всю причёску маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затыкнули:

— Какая хорошенькая!

А мама всё причёску прилаживала.

— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться меленько и часто чёрной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя её на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щёткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда — на картину, картина покосилась, — я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защёлкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась

торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет — и к ножке, к столу.

Я принёс верёвку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел верёвку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застёгивался на три пуговицы. Потом я поднёс Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал верёвку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать верёвку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил чёрной лапочкой кусок, заткнул за щёку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие чёрные ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребёночек. И пощекотал ему ладошку. А ребёночек-то как дёрнет лапку — раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребёночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я всё прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на верёвке. Верёвка есть, на верёвке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю — все три пуговицы сзади расстёгнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на верёвке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлёпаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замёрзнет, бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу: в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал — и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашёл сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось — летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребёнок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь. Стащит

ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушёл в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса верёвкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришёл домой, то из прихожей увидел, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнётся от косяка и едет до стены. Пихнёт ножкой в стену и едет назад.



Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на

тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанью. Ах ты дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвёт лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идёт утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошёл — хлоп, опять кусок извёстки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки извёстки, разложил по краям ступенек, а сам прилёг, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошёл, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, — это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его всё грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрёшься о стол, Яшка сейчас лапкой заскребёт мне бок: даёт мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смиренно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец раздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка

тут как тут: сидит на коленях и ждёт, — ёрзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднёс Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке всё простыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнёт два куска.

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошёлся — не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз... — И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял её с вилки — осторожно, как вор. А доктор дальше:

— И представьте себе... — И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается.

А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а всё-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзине постель: с простынёй, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: всё наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платице, зелёненькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зелёном платице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой ёжик, и он ёжиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришёл, что не слышал, как я вошёл. Это он видел, как стёкла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернёт огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил, но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит — он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскрѣбывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она раскрасавица. Разряженная. Вся так шёлком и шуршит. На голове не причёска, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за причёску. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела.

— Пошёл, пошёл! — говорит.

Не тут-то было! Яшка ещё больше старается: скребёт ноготками, зубками щёлкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил её Яшка, — чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дёрнула его за шиворот, и своротил ей Яшка причёску.

Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову — и в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

«Ну, — думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмёт. Уж столько мне попадало за эту обезьянку».

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и ещё больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казѣнный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору

собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пёс Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьёт и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелёненькое платьице, чтобы он не простудился, посадил к себе на плечо и пошёл. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелёненькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все оцетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвёт Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошёл: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чём не бывало. Вот, мол, я, — мне нипочём!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясёт, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

— Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!



А Яшка — на мешки. Ищет щёлочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нашупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щёлкает. Бывало, что и орехи нашупает Яшка. Набьёт за щёки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашёлся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой.

Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота — прямо к нему. Присел и идёт не спеша на четырёх лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка всё ближе ползёт. Кот глаза

вытаращил, пятится. Яшка — на скамью. Кот всё задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползёт на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Уцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка всё тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево и, всё не спеша, целится на кота чёрными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползёт и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползёт и ползёт, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верха на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йау, йау!» — каким-то страшным, звериным голосом, — я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царём во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слёзы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает!

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему ещё дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. А как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

— Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА

I

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка и на цепи огромный пёс. Мохнатый, весь в чёрных пятнах, — Рябка. Он стерёг дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом завиляет и повернёт морду, куда Володька ушёл. Воздух носом тянет, и всегда верно. Бывало, придёшь с моря ни с чем, а Рябка ждёт рыбы. Вытянется на цепи, подвизгивает.

Обернёшься к нему и скажешь сердито:

— Плохи наши дела, Рябка! Вот как...

Он вздохнёт, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит: понимает.

Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерёг. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, натянет цепь и обхватит меня лапами. Да так крепко — не пускает. Не хочет долго один оставаться: и скучно и голодно.

Хорошая была собака!

II

А вот кошки у меня не было, и мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках — запутается другая и попадётся. И дома всё крадут, что ни положи.

Вот я и пошёл в город. Достану, думаю, себе весёлую кошечку, она мне

всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и мурлыкать. Пришёл в город. По всем дворам ходил — ни одной кошки. Ну нигде!

Я стал у людей спрашивать:

— Нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только.

А на меня сердиться стали:

— До кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми.

А один сказал:

— Я бы сам кота съел, а не то что его, дармоеда, кормить!

Вот те и на! Куда же это все коты девались? Кот привык жить на готовеньком: нажрался, накрал и вечером на тёплой плите растянулся. И вдруг такая беда! Печи не топлены, хозяйева сами чёрствую корку сосут. И украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь.

Перевелись коты в городе... А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки и не достал.

III

Настала зима, и море замёрзло. Ловить рыбу стало нельзя. А у меня было ружьё. Вот я зарядил ружьё и пошёл по берегу. Кого-нибудь подстрелю: на берегу в норах жили дикие кролики.

Вдруг, смотрю, на месте кроличьей норы большая дырка раскопана, как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда.

Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу: там в глубине два глаза светятся.

Что, думаю, за зверь такой завёлся? Я сорвал хворостинку — и в нору. А оттуда как зашипит!

Я назад попятился. Фу-ты! Да это кошка! Так вот куда кошки из города переехали!

Я стал звать:

— Кис-кис! Кисанька! — и просунул руку в нору.

А кисанька как заурчит, да таким зверем, что я и руку отдёргнул. Ну тебя, какая ты злая!

Я пошёл дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи норы, кроликов выгнали и стали жить по-дикому.

IV

Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом.

Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит. Вся напряжилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждёт, что я буду делать.

А я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка глянула, куда корка упала, а сама ни с места. Опять на меня уставилась. Я обошёл стороной и оглянулся: кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой, в нору.

Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерки я её принял за кролика и хотел уже стрелять.

V

Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой. Вдруг слышу — лает мой Рябчик. И смешно как-то лает: бестолково, на разные голоса, и подвизгивает. Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому большая серая кошка. Я сразу её узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. Кошка увидела меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбёшку и бросил.

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела.

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости.

Я все её задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка всё дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрёт рыбу и убежит. Как зверь.

Наконец мне удалось её погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на неё не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с кошкой.

Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела идти.

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место.

VI

Рябчик так скучал, что рад был кошке.

Раз шёл дождь. Я смотрю из окна — лежит Рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет.

Я вышел и крикнул:

— Рябка! В будку!

Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет.

Я подошёл и заглянул в будку. Через весь пол важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мок под дождём.

Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал её облизывать, как щенка. Кошка топорицилась и встряхивалась.

Я видел, как Рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выпавшись, уходила по своим делам.

VII

А дела у ней были вот какие.

Раз слышу — будто ребёнок плачет. Я выскочил, гляжу: катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю — в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребёнок. Я отнял его у кошки. Обменял у ней на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рябка на цепи издали облизывался.

Против дома была яма с пол-аршина глубины. Вижу из окна: сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить.

Вдруг Мурка подскочила — я мигнуть не успел, а она уже рвёт ласточку. Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли. А в яме в засаде поджидала кошка. Часами сидела она вся на взводе, как курок: ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! — и цапнет лапой на лету.

Другой раз я застал её на море. Бурей выбросило на берег ракушки. Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка.

VIII

Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стаей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись мимо нашего дома. Рябчик весь оцетинился, напрягся. Он глухо ворчал и зло смотрел. Володька схватил палку, а я бросился в дом за ружьём. Но собаки пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно.

Рябчик долго не мог успокоиться: всё ворчал и глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что: она сидела на солнышке и важно мыла мордочку.

Я сказал Володе:

— Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибегут собаки — она прыг на столб и по столбу на крышу.

Володя говорит:

— А Рябчик в будку залезет и через дырку отгрызётся от всякой собаки. А я в дом запрусь. Нечего бояться.

Я ушёл в город.

IX

А когда вернулся, то Володька рассказал мне:

— Как ты ушёл, часу не прошло, вернулись дикие собаки. Штук восемь. Бросились на Мурку. А Мурка не стала убегать. У ней под стеной, в

углу, ты знаешь, кладовая. Она туда зарывает объедки.

У ней уж много там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела, привстала на задние ноги и приготовила когти. Собаки сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами — шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются всё к Мурке, к Мурке!

— А ты чего смотрел?

— Да я не смотрел. Я скорее в дом, схватил ружьё и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом, прикладом. Всё в кашу замешалось. Я думал, от Мурки клочья одни останутся. Я уж тут бил по чём попало. Вот, смотри, весь приклад поколотил. Ругать не будешь?

— Ну, а Мурка-то, Мурка?

— А она сейчас у Рябки. Рябка её зализывает. Они в будке.

Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в середине лежала Мурка. Рябка её лизал и сердито поглядел на меня. Видно, боялся, что я помешаю — унесу Мурку.

X

Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту.

Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга.

Володька выскочил, кричит:

— Собаки, собаки!

Я схватил ружьё и, как был, выскочил на крыльцо.

Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слышали, как я вышел.

Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил ещё раз вдогонку. Рябка рвался на цепи, дёргался с разбега, бесился, но не мог порвать цепи: ему хотелось броситься вслед собакам.

Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую: закапывала лапкой разрытую ямку.

В комнате при свете я осмотрел кошку. Её сильно покусали собаки, но раны были неопасные.

XI

Я заметил, что Мурка потолстела — у ней скоро должны были родиться котята.

Я попробовал оставить её на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось её выпустить.

Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом.

Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать. Прибегут, когда мы с Володей будем в море, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увезти Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали морем.

Далеко, за пятьдесят вёрст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегают. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку. Сейчас же накормили её рыбой до отвала. Я сказал, что кошка в дом жить не пойдёт и что надо для неё сделать нору, — это не простая кошка, она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась стеречь невод от мышей.

А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял; лаял и на нас: куда мы дели кошку?

Мы долго не были на неводе и только осенью собрались к Мурке.

XII

Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюде. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков — крабов. Они, как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щёлкают над головой клешнями: пугают. А если ухватят за палец, так держись: до крови. Вдруг я смотрю: среди всей этой кутерьмы спокойно идёт наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги. Подцепит его лапой сзади, где он достать её не может, и швырк прочь. Краб встаёт на

дыбы, пыжится, лязгает клешнями, как собака зубами, а Мурка и внимания не обращает — отшвырнёт, как камешек.

Четыре взрослых котёнка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идёт по дну ногами, а от головы вода расступается.



Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбёшку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дно, закапываются в песок — вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. А они уж совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники!

XIII

Рыбаки не могли нахвалиться Муркой:

— Ай да кошка! Боевая кошка! Ну, а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как господа, и всё им в рот подай. Вон, гляди, расселись как! Чисто свиньи. Ишь развалились. Брысь, поганцы!

Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись.

— Вот только из-за мамаша и терпим. Выгнать бы их надо.

Коты так обленились, что им лень было играть с мышью.

XIV

Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упустили мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели: валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наесться рыбьих головок.

— Ишь мамашины сынки! — сказал Володька и бросил в них песком. — Смотреть противно. Вот вам!

Коты тряхнули ушами и перевалились на другой бок.

Лодыри!

МАНГУСТА

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая, живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придёт на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлона. Я хотел скорей бежать на берег, скорей найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит чёрный человек (тамошние люди все чёрные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу: у чёрного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

— Сколько?

Он даже испугался сначала — так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я сейчас же расплатился и перевёл дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого чёрного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл.

Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу — готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно — это она нарочно, так играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса чёрным блестящим глазом.

Мне скорей захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста — юрк! — и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, всё нюхала и крякала: «кряк! кряк!» — как будто ворона. Я хотел её поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку — и готово: мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу: она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел её погладить и только поднёс руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырёх лапах, как будто под каждой лапой

пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня весёлыми глазками и снова: «кряк!» И смотрю — уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернётся, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре — как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые — розовые, красные, совсем чёрные! Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболталось. Я работал и всё думал: «Что там мои мангусты? Ведь я им ничего поесть не оставил».

Я спрашивал чёрных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

— Давай что попало: она сама разберёт, что ей надо.

Я выпросил у повара мяса, накупил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Всё это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая — прыг! — и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уж поздно: мангусты бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на верёвочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу — надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал полузакрыв глаза и недвижно.

Гляжу: мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась — пароход качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет! Шлепнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна: у неё лапки как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил её на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски всё обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут её дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, всё ли в порядке.

Он увидел мангусту и быстро пошёл, а потом начал осторожно красться. Он шёл по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суетилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чём не бывало; кот уж прицелился.

Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост — громадный пути истый хвост — поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ёжик, что стёкла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от калёного железа. Он сразу повернул и, задрвав хвост палкой, понёсся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чём не бывало снова суетилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе — кота и не сыщешь. Его звали и «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангусты; они крикали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом.

Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время.

Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Фёдор кричал, что сейчас идёт он с вахты и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея — во! — в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Фёдору, но всё же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку

толщиной, а ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне:

— А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших! А ну, пусть они...

Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать было некогда: уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нёс сюда клетку. Я открыл её около самой груди, где кончались деревья и видны были чёрные ходы между стволами. Кто-то зажёл электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в чёрный проход ручная. И следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжёлых брёвен. Но уже было поздно: обе мангусты ушли туда.

— Неси лом! — крикнул кто-то.

А Фёдор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул:

— Гляди, гляди! Хвост!

Фёдор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Фёдора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту; хвост был не змеи, а мангусты — он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.

— Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! — крикнул Фёдор.

— А сам-то чего? Командир какой! — ответили из толпы.

Никто не помогал, а все пятились назад, даже Фёдор с топором. Вдруг мангуста изловчилась; видно было, как она вся извилась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся, он вскинул вверх мангусту и брякнул её о палубу.

— Убил, убил! — закричали кругом.

Но моя мангуста — это была дикая — мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впилась в неё своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в чёрный проход.



Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею всё больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и её бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Фёдор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеиная голова — это мангуста! Вот и ручная прыгнула на палубу: она впиалась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась, она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки.

Вдруг кто-то крикнул:

— Бей! — и ударил ломом по змее.

Все бросились и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую.

Она была в такой злобе, что укусила меня за руку: она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решётку.

Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пошёл прижечь йодом покусанные руки.

А там, на палубе, всё ещё молотили змею. Потом выкинули за борт.

С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и её под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазила по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на её ловкость, глядели задрав головы. Но вот канат дошёл до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них — электрические провода к фонарю наверху. Мангуста быстро полезла ещё выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул:

— Там провода голые! — и побежал тушить электричество.

Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Её ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Её подхватили, но она уже была недвижна.

Она была ещё теплая. Я скорей понёс её в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасёт моего зверька?» — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шёл мне навстречу. Я хотел, чтобы скорей, и тянул доктора за руку. Вошли ко мне.

— Ну, где же она? — сказал доктор.

Действительно, где же? На подушке её не было. Я посмотрел под койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: «кррык-кррык!» — и мангуста выскочила из-под койки как ни в чём не бывало — здоровёхонька.

Доктор сказал, что электрический ток, наверно, только на время оглушил её, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я всё её к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту — так её любили.

А дикая потом совсем приручилась, и я привёз мангуст к себе домой.

ПРО СЛОНА

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: всё думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Всё думал: вот утром сразу открою глаза, и индусы, чёрные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый — всё зашевелится, заиграет. И слоны! Главное — слонов мне хотелось посмотреть.

Всё не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят: по улице вдруг такая громада прёт!

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как всё постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода, — и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну, — готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки; в них чёрные в белых чалмах — зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силы, жмёт, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошёл, задохнулся прямо: как будто я — не я и всё это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду — на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоём на берег. В порту, в городе всё бурлит, кипит, народ толчётся, а мы — как оголтелые и не знаем, что смотреть, и не идём, а будто нас что несёт (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим — трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше, — очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идёт. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придём куда-нибудь!

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит; тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идёшь и тень свою топчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят — бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идёт по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и

остановился. Нам жутковато стало: больших при нём никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанёт раз хоботом — и готово.

А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, — кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил ещё двоих сразу, а третий был маленький, лет четырёх, должно быть, — на нём только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возмёшь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошёл — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идёт, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьётся около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает наверх осторожно. Тот — руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, всё ещё воевать пробовал.



Мы поравнялись, идём стороной дороги, а слон — с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят, как на дому, на крыше.

«Вот, — думаю, — здорово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперёк живота, сдавит, швырнёт выше дерева и, если на клыки не подцепит, всё равно будет ногами топтать, пока в лепёшку не растопчет».

А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками: осторожно и бережно.

Слон прошёл мимо нас; смотрим, сворачивает с дороги и попёр в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян, — только ветки похрустывают, — перелез и пошёл к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те

сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с неё обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошёл: совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие, и густые, и путаные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького — он там, видно, обезьянкой уцепился — достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошёл обратно. Мы за ним. Он идёт и по временам оглядывается, на нас косится: чего, мол, сзади идут какие-то? Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орёт на слона — слон нехотя повернулся и пошёл к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка; на ней верёвка намотана и ручка сбоку. Смотрим: слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть; вертит как будто пустую, вытащил — целая бадья там на верёвке, ведер десять. Слон упёрся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать — она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, потрянул ушами и пошёл прочь — не стал воду больше доставать, пошёл под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен — только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим — слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы; всё на мою русскую фуражку показывает. Я говорю — русские. А он и не знал, что такое русские.

— Не англичане?

— Нет, — говорю, — не англичане.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал; позвал к себе.

А индусы англичан терпеть не могут: англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат.

Я спрашиваю:

— Чего это слон не выходит?

— А это он, — говорит, — обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочём работать не станет, пока не отойдёт.

Смотрим, слон вышел из-под навеса, в калитку — и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдёт. А индус смеётся. Слон пошёл к дереву, опёрся боком и ну тереться. Дерево здоровое — прямо всё ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землёй как дунет! Раз, и ещё, и ещё! Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твёрдая, как подошва, а в складках — потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу:

— Какой он у тебя умный!

А он хохочет.

— Ну, — говорит, — если бы я полтора года лет прожил, не тому ещё выучился бы. А он, — показывает на слона, — моего деда нянчил.

Я глянул на слона — мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный.

Я говорю:

— Старый он у тебя?

— Нет, — говорит, — ему полтора года лет, он в самой поре! Вон у меня слонёнок есть, его сын, — двадцать лет ему, совсем ребёнок. К сорока годам в силу только входить начинает. Вот погодите, придёт слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха, и с ней слонёнок — с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребёнок, шёл.

Ребята индусовы бросились матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошёл; слониха и слонёнок — с ними. Индус объясняет, что на речку Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились. Всё пробовали говорить — они по-своему, мы по-русски — и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал: всё мою фуражку надевал и что-то кричал смешное — может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток — быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слонёнка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоём мыть. Наберут со дна

песку с водой в хобот и, как из кишки, его поливают. Здорово так — только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть — больно уж быстрое течение, унесёт. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочём, он даже внимания не обращает — всё своего слонёнка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернёт на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струёй — тот так и сел. Хохочет, заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята ещё пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясёт: не приставайте, мол, видите, некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали — он водой на слонёнка дунет, он сразу хобот повернул да в них.

Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег; слонёнок ему хобот протянул, как руку. Слон заплёл свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.

Пошли все домой: трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагорожен целый город тёсаных брёвен: штабеля стоят, каждый вышиной в избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик: кожа на нём совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то. Смотрю, из лесу идёт другой слон. В хоботе качается бревно — громадный брус обтёсанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно — как плотник на постройке.

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик: он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушёл не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это, и не глядел бы».

А из лесу идёт уже третий слон с бревном.

Мы — туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти брёвна к речке. В одном месте у дороги — два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдёт до

этого места, опустит бревно на землю, подвернёт колени, подвернёт хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперёд. Земля, камни летят, трёт и пашет бревно землю, а слон ползёт и пихает. Видно, как трудно ему на коленях ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берётся. Опять повернёт его поперёк дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди, снова уже встал и несёт. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь — всех слонов-носильщиков, — и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползли на коленках. Мы недолго постояли и ушли.

ПРО ВОЛКА

Дикий зверь

У меня был приятель-охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: «Ишь хвастает! Дай загну похитрей чего-нибудь» — и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что.

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, — говорит, — просил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на верёвке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате как хочет, — на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал я воздуха в грудь и дёрнул в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...» Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглянул комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, подшутили, — как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Я вот говорю — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец: привёз мне живого волка!

Я осторожно подошёл, — волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырёх ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть — из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу её залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку.

Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок.



В кухне мать мыла волчонка зелёным мылом, тёплой водой, а он смиренно стоял в корыте и лизал ей руки.

Как я учил волка «тубо»

Я решил, что сызмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он ещё маленький, а зубищи уж какие во рту. А вырастет — держись тогда. Первое, думал я, надо научить его «тубо». Это значит — «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принёс плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

— Тубо! — и дёрнул его назад.

И вот тут он сразу как рявкнет на меня, голову повернул, зубами щёлкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, — вот оно что значит волк-то...

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул «тубо» и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плошку и взвизгнул, совсем по-ребячьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плошку.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая! — и опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от плошки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он был обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я всё же решил настоять на своём.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул «тубо». Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уже отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошёл гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: «Волченька, миленький да бедненький», а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: «Гляди, что волчище

наделал! Твой волк, девай его куда хочешь». Тогда всё на меня будут валить. «Завёл, — скажут, — зверя в доме, теперь и расхлёбывай». И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашёл комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной смеялись:

— Скажите, Дуров какой у нас завёлся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали её Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как её увидал, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка оцетинилась, оскалилась, как огрызнётся:

«Рраф!»

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. «Дай, — думаю, — я вас примирю». Я заставил Плишку лечь рядом с волчком. Она, дрянь, всё время подымала губу, показывала зубы и шёпотом ворчала — ей, видно, противно было лежать рядом с волчком. А он пробовал её нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела.

«Ну, — думаю, — как же я их одних-то дома оставлю, как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на неё.

Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел — она цап волчонка за ухо. Но тут вышло не то: волчонок как рывкнет и так лязгнул зубами — быстро, как молния, — что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на всё натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придёт в голову сверху царапнуть волчонка. Нет, Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принёс с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе

Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка.

— Что это собачка безобразная? — И присела на корточки. — Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтобы в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь, волчонок. Ах бедный ты мой!

Смотрю, уж гладит его.

Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать, — говорит Аннушка, — а только, знаете, говорится: сколь волка ни корми, а он всё в лес глядит.

И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своём углу, каждому из своей кормушки.

Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка своё быстро сожрала, оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадёт к волку. Ещё раз оглянулась на меня и втихомолку подворачивает на волка. Оскалилась всем ртом, глазищи злые, и надвигается шаг за шагом.

«Ну, — думаю, — залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнём, будешь знать. Всё вижу, голубушка».

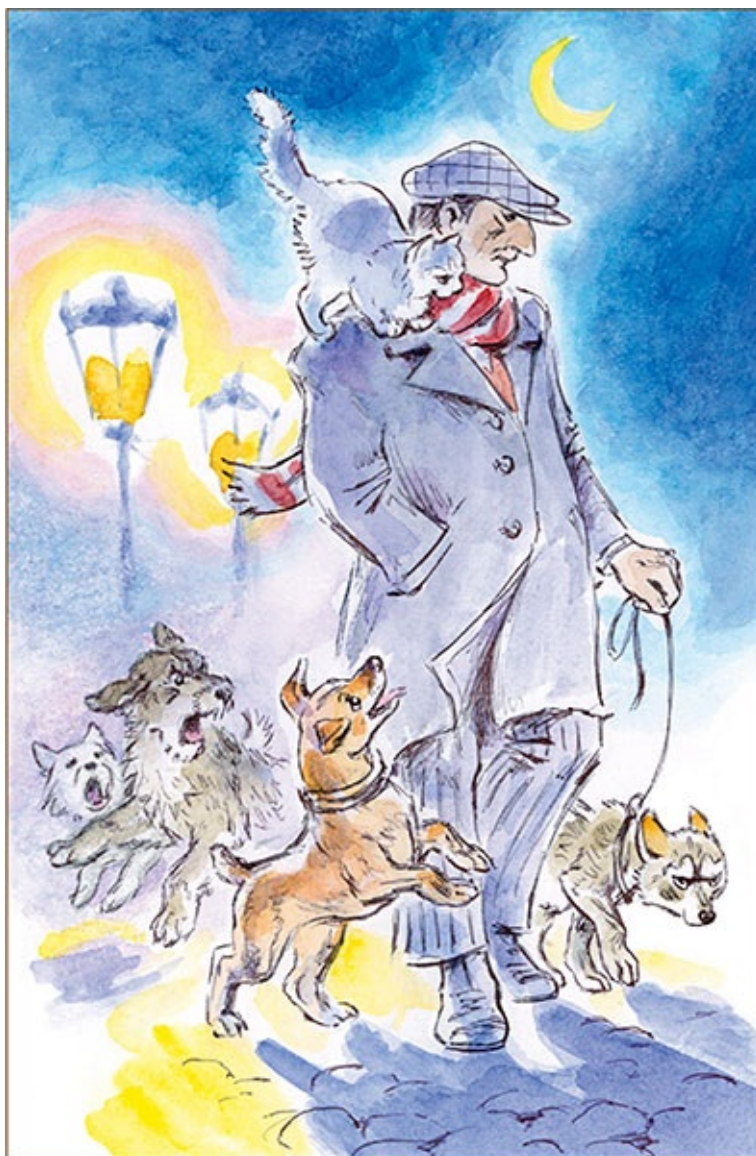
Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык! — и лязгнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнём горит. Я её звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу ещё пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперёд: только я крикну «тубо», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

Собаки скандалят

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идёт взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошёл вечером по улице: волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подёргивать за цепочку, чтоб он шёл рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так: нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.



Первая попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчонком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, оцетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось.

Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трёх шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас

лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что, — сказал я Плишке, — наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было. Но Волчик очень радовался, когда пришёл домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял её по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

Вырастает

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала бельё, а около неё, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла, — говорит Аннушка. — Уж что, в самом деле, и свету животное не видит.

Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим верёвочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идёт на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:

— Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала тёплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой верёвки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую весёлую собачку.

Бой с Манефой

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбёшку. Волчонок кончил своё и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим зверем на кошку. Всё это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырёх лапах и успела рвануть его когтями по носу, — я боялся, чтоб не выцарапала глаза.

Я крикнул «тубо» и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, — оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал её из-под кровати. Там была лужа.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно тёрлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

«Особой породы»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили, — особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что пьяный ревёт за окном. Но потом разобрал я, в чём дело. Волк. Волк завыл...

Я зажгёт свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и

овчарками. Наверху генеральша живёт, злая и вздорная. «Помилуйте, — скажет, — живёшь, как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я всё знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дёрнул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улёгся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать, — как дёрнет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пёс мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него — как железные палки. Я с ним гулял днём, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперёд.

Узнали

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки. Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

— Нет, — говорю. — Она смиренная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее,

стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?

— Верно, — говорю.

— Настоящий?

— Настоящий.

— А ну, — говорят, — забожись.

— Ей-богу, — говорю, — настоящий.

— Ага, — говорят, — то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай ещё погладить. Настоящего-то.

Это было действительно так: я цепь от волка привязывал ремнём к левой руке — в случае дёрнется или бросится, уж от меня он не оторвётся. Пусть я даже упаду с ног — всё равно не уйдёт.

Прозевал

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдёт к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животина. Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот, волк — за мной. Беру у разносчика сдачи и слышу —

сзади собачий лай, рывканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, припёрли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лязгают быстро, как выстрелы: хляст! хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул её за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня. Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволоч меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону. А волк рвётся, я на спине барахтаюсь, ошейника не отпускаю.

Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

— Пускайте, — кричит, — я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоём увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал: «Бешеная! Бешеная!»

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

Беда

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревёт над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась.

Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

— Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воеет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю. Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже — скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю! Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то! — И присела к нему, гладит. — Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шёл со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю, — говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает. — Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но, знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу. — И пристав просительно улыбнулся. — Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот этакие. — И показал почти на метр от земли. — Так вот от вашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт.

И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут. — И тут пристав нахмурился. — Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет, — сказал я. — Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну, продайте! — крикнул пристав. — Продайте, чёрт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам, — сказал я и пошёл скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед. — Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошёл ещё скорей. Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка, — сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясётся. И вдруг как стукнет зонтиком об пол:

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.

— От собаки от бешеной! — кричит генеральша.

— Вас, видно, мадам, покусала, только это не моя.

И я пошёл в ворота.

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка.

— Ой, бегите, — говорит, — скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел ослушаться: отвёл и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошёл через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городовых. Волк первый заметил меня. Он дёрнулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

— Куда ты его? Что он, твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городской побежал бегом к воротам.

— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор.

Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уж за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевёл дух и оглянулся: двое городовых остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

Совсем конец

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы, — говорит, — в моё положение войдите: вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велют, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить. Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но всё-таки привык, и теперь, в ошейнике, с намордником, он был совсем как собака.

Всё свободное время я ходил с волком — мы искали квартиру. Я уж совсем нашёл, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дёрнулся, чтоб бежать в полицию.

Но Аннушка ухватила меня за рукав:

— Без дела пойдёте. Увёз, увёз, окаянный, к себе! Сама видела, как на подводу поклали. Связали — и на сено. А коней не удержать.

Я всё-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение.

Я узнал: всё было, как сказала Аннушка.

ТИХОН МАТВЕИЧ

Это было в царское время на грузовом пароходе. Он ходил на Дальний Восток. И всё это началось с порта Коломбо, на острове Цейлоне. Это английская колония^[1], а туземное население — сингалезы. Они шоколадного цвета, и мужчины здорово похожи на цыган.

И вот на пароход приходят два сингалеза. Один высокий и статный, другой — пониже, широкий, на редкость крепко сшитый человек. Он-то и говорил, высокий больше молчал. Можно было понять, что он говорит про зверей. Он говорил на ломаном английском языке. Его обступили машинисты. Кто-то грубо спросил, где у него левый глаз. Левого глаза действительно не было. Он сказал, что глаз ему выбил тигр.

Они с братом охотники. Ловят зверей живьём и продают в зверинцы. Тигр прыгнул, брат должен был поднять сетку.

— В один миг тигр лапами попадает в неё, а вот ему приходится в это время тигру в пасть засунуть руку. В руке бамбуковая палочка, и если сжать её в кулаке, то с обеих сторон выскакивают короткие ножики и так остаются торчать. Они вонзаются в язык и нёбо. — Сингалез пальцами стал показывать у себя во рту, как становится палочка. — Но если нажать раньше, палочка не влезет в пасть. А если поставить криво, пропало всё, но уж если удалось, тигр от боли забывает всё. Он лапами хочет выскрести палочку из пасти, лапы путаются в сетке, но тут не зевай: охотники подкуривают его снотворной отравой. Он засыпает, замирает. С ним можно делать что угодно. Они вынимают палку.

— Заливает! Калоши заливает! — сказал Храмцов, старший машинист.

Он был атлет и франт. Он франтил мускулатурой и ходил в одной сетке на голом теле, а усики закручивал в острые стрелки. И он мигнул сингалезу нахально и помахал перед носом пальцем. Сингалез показал на груди шрамы. Они, как белые восклицательные знаки, шли от ключицы вкось к животу. Сингалез был до пояса голый, но казалось, что он в коричневой фуфайке и его закапали штукатуркой.

— Это вот брат не успел, на один всего миг опоздал поднять сетку, и тигр задел его лапой, но зато брат успел выстрелить.

— Сказки! Расскажи ещё, как летающих медведей ловил, — говорил Храмцов.

Он сделал шагов пять по палубе, но снова вернулся. Сингалез уже

говорил про обезьян. Он говорил про оранга. Ловить ездили на остров Борнео. Говорил, что если оранга встретить в лесу и нет ружья, то не стоит пытаться бороться: захочет оранг — и задушит, как мышшь.

— А велик ли оранг? — спросил Храмцов.

Сингалец показал метра на полтора от палубы.

— А если ему в морду? — И Храмцов замахнулся кулаком. — Бокс, бокс! Понимаешь?

Сингалец улыбнулся.

Но машинист Марков, многосемейный человек, спросил:

— А почём штука оранги эти здесь, на месте?

Сингалец назвал цену.

— А в Нагасаках?

Да, выходило, что в Японии, если продать немецкому агенту, который скупает зверей для зоопарков, то заработать можно рубль на рубль.

— Дай мне сюда твою обезьяну, так ты у ней зубов не соберёшь! — кричал Храмцов и выпячивал грудь. Грудь действительно здоровая, и мускулы — как живая резина.

— Да брось ты, надо дело говорить, — гнусил Марков и заводил усы себе в рот — это всякий раз у него, как разговор заходил о деньгах.

Он пробовал торговаться. Деньги действительно большие. Он хмуро оглядел всех и вдруг сказал:

— Айда, покупаю.

— А вдруг сдохнет дорогой? — сказал кто-то.

Марков засосал усы и долго зло глядел на сингалеза. Но сингалец говорил с братом, потом оба подошли к машинистам.

Они говорили, что пусть поедут посмотрят — есть одна очень здоровая обезьяна. Ух, сильная! Не оранг, они её иначе называли.

* * *

Решили сейчас же идти на берег трое, Марков четвёртым, глядеть обезьян. Увязался и радист Асейкин, совсем молодой, долговязый; он первый раз попал в тропики и ходил как пьяный от счастья. Он всё покупал дорогой маленькие вещи из дерева и из кости и всё нюхал их. Хотел увезти с собой аромат этой нагретой солнцем земли, аромат зноя, когда начинают пахнуть и сами камни. А машинисты говорили, как бы Марков не надул

сингалеза и что цены на зверей есть в каталоге. Где бы достать?

Это был небольшой дворик, и в нём два сарайчика. В один из сарайчиков ввёл всю гурьбу сингалез. Сначала показалось темно — и все попятись. Из темноты раздался рёв... Нет! Это было мычанье, каким вдруг начинает орать глухонемой в беде, в отчаянии, в злобе, но голос страшной силы и злобы.

Теперь ясно видно стало: сарай был надвое разделён решёткой, железными прутьями в палец толщиной, если не толще; низ их уходил в помост, верх был заделан в потолок. И там, за решёткой, на помосте, стоял, держась за прутья... кто? Сначала показалось, что человек в лохмотьях. Нет! Огромная обезьяна. Она глядела на людей большими чёрными глазами, страшными потому, что как будто из человеческих глаз смотрели собачьи зрачки, и пламенная, неукротимая ненависть была в этом взгляде. Низкий лоб и короткие волосы острой щетиной.

— Горилла! Тьфу, чёрт какой! — сказал Марков.

Но в этот момент горилла рванула и затрясла железную решётку и заорала мучительным рёвом с яркой ненавистью. Она в бешенстве старалась укусить себя за плечо и не могла: железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в её руках. Кроме Асейкина, все выскочили во двор. Сингалез показывал Асейкину на один прут. Его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалез объяснил, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали её в сетку из толстых верёвок. Но она всё равно их разгрызла бы зубами, изорвала бы в клочья. Они успели её подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на неё кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась, очнувшись! Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Её усыпили снова, надели ошейник.

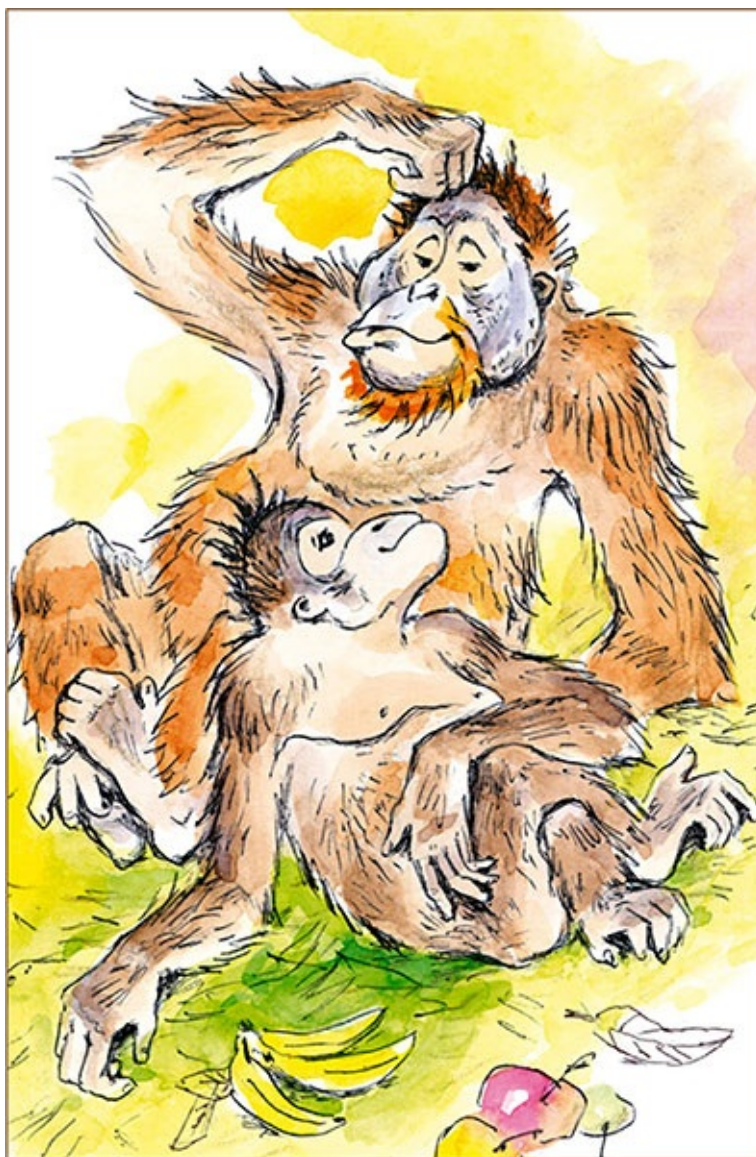
Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае.

Сингалез кивнул на гориллу и весело сказал:

— Бокс! Бокс!

Все вспомнили Храмцова. Но Марков торопил. Люди были отпущены на час.

В другой сарай уже не решились войти сразу — через двери глядели. Там, полулёжа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой.



— Леди, леди, — объяснял хозяин.

У Леди живот был таким же пузатым, как и у её мужа. Большой рот, казалось, улыбался.

Асейкин захохотал от радости. Он совсем близко подошёл. Сингалец его не удерживал. Асейкин уже поздоровался с орангом за руку. Сингалец утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что, если их не обижать,

с ними можно жить в одной комнате.

Все осмелели. Оранг тёмными глазами разглядывал не спеша всех по очереди. Марков ругался:

— Это же пара: разделить, так он от тоски сдохнет. И ведь этикие деньги!

Оказалось, не поняли: эти деньги сингалез хотел за пару, он их только вместе и продаёт.

Марков повеселел. Он заставил сингалеза поднять оранга, провести; он уже хотел, как у лошади, глядеть зубы.

Нет, цена действительно сходная. Разговор шёл уже о кормёжке.

Асейкин без умолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и переводил свои слова на английский язык.

— Поедешь с нами, приятель. Ей-богу, русские люди неплохие. Как звать-то тебя? А? Сам не знаешь? Тихон Матвеич! Слушайте, — кричал Асейкин, — его Тихоном Матвеичем зовут!

Асейкин совал ему банан. Тихон его очистил. Но супруга вырвала и съела.

— Не куришь? — спрашивал Асейкин.

Тихон взял портсигар двумя пальцами, Асейкин пробовал потянуть. «Как в тисках!» — с восхищением говорил Асейкин. Тихон держал без всякого, казалось, усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхал его. Сингалез что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар.

Марков ворчал:

— Ещё табаку нажрётся да сдохнет...

Сингалез объяснял, чем кормить. Нет! Ничего не понять. Наконец решили, что сингалез сам доставит обезьян — Тихона и его Леди — и корм на месяц и там покажет на деле, чего и сколько в день давать.

Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток.

* * *

Капитан пришёл поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан бойко говорил по-английски. Сингалез его уверил, что этих орангов можно держать на свободе. Кормёжку — всё сплошь фрукты — привезли в корзинках на арбе, на тамошних бычках с горбатой шеей. Сингалез определил дневную порцию. Пароходный мальчишка Серёжка

успел украсть десятка три бананов и принялся дразнить Тихона. Марков стукнул его по шее. Тихон поглядел и как будто одобрил. Асейкин сказал: «Ладно, что не Тихон стукнул, а то бы Серёжкина башка была за бортом». Серёжка не верил, пока не увидал, как этот пузатый дядя взялся одной рукой за проволочный канат, что шёл с борта на мачту, и на одной руке, подбрасывая себя вверх, легко полез выше и выше. Обезьяны ходили по пароходу. Их с опаской обходили все, хоть и делали храбрый и беззаботный вид. Фельдшер Тит Адамович глядел, как Асейкин играл с Тихоном, как наконец Тихон понял, чего хотел радист. Тихон взял в руку конец бамбуковой палки, за другой держал Асейкин. И вот Тихон потянул конец к себе; он лежал, облокотясь на люк. Он не изменил позы. Он легко упирался ногой в трубу, что шла по палубе. Да, а вот Асейкин как стоял, так на двух ногах и подъехал к Тихону Матвейчу.

— Як он захворает, — сказал фельдшер, — то пульс ему щупать буду не я.

— Тьфу, — сказал Храмцов, — это сила? Что, потянуть? А ну!

Храмцов держал за палку. Он дёрнул рывком и чуть не полетел — оранг выпустил конец. Храмцов снова бросился с палкой. Тихон поднялся, в упор глядя на Храмцова.

— Бросьте! — крикнул Асейкин.

Марков уже бежал, крича:

— Ты за неё не платил, так брось ты со своими штуками!

Но Асейкин уже хлопнул Тихона по плечу:

— Знаешь что?

Тихон оглянулся. Асейкин протянул ему банан.

— А я вам говорю, что я из него верёвку совью, — говорил Храмцов и, расставив руки бочонком, как цирковой борец, важно зашагал.

* * *

Но фельдшер Тит Адамович накаркал беду. Ночью леди-оранг стонала. Стонала, как человек стонет, и все искали на палубе, кто это. Стонала она, а Тихон держал её голову у себя на коленях и не спал. Марков побежал, разбудил фельдшера. Тит Адамович сказал, что можно компресс на лоб, но кто это сделает? Холодный компресс. Но если Тихон обидится? Тихон что-то бормотал или ворчал над своей женой. Марков требовал, чтобы

фельдшер дал хоть касторки. Касторки Тит дал целую бутылку, но Марков только стоял с ней около, да и не очень около, шагах в трёх.

— Да ты сам хоть пей! — крикнул Храмцов. — Чего так стоишь?

Асейкин сидел в радиокаюте, и к орангу до утра никто не подходил.

Наутро все три компаньона ругали Маркова: обезьяна сдохнет, а Тихон от тоски в воду кинется или сбесится, ну его в болото!

Асейкин один сидел рядом и глядел, как Тихон заботливо искал блох у жены в голове. Он даже хотел помочь, когда Тихон взял жену на руки и понёс её в тень. Какая-то мошкара увязалась ещё с берега; Тихон отмахивал её рукой от больной жены. Леди часто дышала с полуоткрытым ртом, веки были опущены. Асейкин веером махал на неё издали. Но Асейкин просил, чтобы заперли воду, чтобы сняли рукоятки с кранов: оранг их умел открывать. Он наконец оставил жену и пошёл за водой, это было ясно: он пробовал открыть краны. Он пошёл к кухне, возбуждённый, встревоженный. Он шёл, как всегда, опираясь о палубу, но в дверях кухни он встал в рост, держась за притолоку, искал глазами воды. Повар обомлел: он не знал, что собирается делать Тихон, другая дверь была завалена снаружи каким-то товаром, её нельзя было открыть. Повар боялся, что Тихон обожжётся обо что-нибудь или ошпарится — обидится, взъярится, и тогда аминь. И повар потерянно шептал:

— Тише, Тишенька! Христос с тобой! Чего, голубчик Тихон Матвеич? Чего вам захотелось?

Но Тихон обвёл тоскливыми глазами плиту и стол и быстро пошёл к жене. Он носил её с места на место, искал, где лучше. Но она вся обвисала у него на руках и не открывала глаз.

* * *

Уже второй день Леди ничего не ела, не ел и Тихон.

Храмцов издевался. Асейкин кричал, чтобы не давали пить. Пайцки махнули рукой. Марков один только не мог примириться с неудачей. Он стоял над больной и приговаривал с тоской:

— Такие деньжищи! Да это лучше бы чаю купить этого, цейлонского...

Но вот Леди открыла глаза. Она искала чего-то вокруг себя.

Асейкин вскочил. Он понёсся к фельдшеру. Назад он шёл со стаканом,

с гранёным чайным стаканом, в нём была вода, а поверху плавал порошок. Тит Адамович шёл сзади:

— Не станет она того пить, а стаканом вам в рожу кинет, увидите. Я не отвечаю, честное даю вам слово!

Но Асейкин сказал своё: «А знаешь что?» — и Тихон оглянулся. Он сам потянулся рукой к стакану, взял его осторожно и потянул к губам, но Леди подняла голову. Она хотела слабой рукой перехватить стакан. Тихон бережно за затылок придерживал ей голову, и она жадно пила из стакана.

Марков причитал:

— Всё одно пропадёт, только на чучело теперь...

Тихон передал стакан Асейкину, как делал всегда Асейкин, налил воды из графина. Тихон снова спойл его жене. Третий стакан — за ним не потянулась, отстранила — Тихон сам выпил. Он пил с жадностью: это был третий день, что у него не было маковой росинки во рту.

Мы так и не узнали, чего намешал Тит Адамович, но на другой день Леди уже сидела. К вечеру она пошла пешком. Тихон поддерживал её с одной стороны, Асейкин — с другой.

Храмцов уверял, что Тихону надоест, что Асейкин суётся, и шваркнет он этого приятеля за борт. Но Тихон, видимо, верил Асейкину, и они втроём прогуливались по палубе. Асейкин пробовал тоже опираться рукой в палубу — все смеялись, конечно, кроме орангов. Асейкин уверял, что он уже кое-чему выучился по-обезьяньи. Он, правда, каркал иногда, но выходило по-вороньи. Обезьяны повеселели. Боцман поговаривал, чтобы Асейкин выучил их хоть палубу скрести, а то сила такая зря пропадает.

— Какая сила такая? — перебил Храмцов. — Это лазить разве? Так он же лёгкий сам. А если взяться на силу — ну, бороться, — да врёт этот сингалез, заливаает, вроде как про тигра. Да я возьмусь с вашим Тихоном бороться, хотя бы по-русски, без приёмов, в обхват, — вот увидите.

Храмцов представил, как это он обхватывает Тихона, и так это действительно приёмисто, и так это вздулась, заходила его мускулатура, забегали живые бугры по плечам, по рукам, меж лопаток, что стало страшно за мохнатого, за пузатого Тихона Матвейча с рыжей бородушкой.

— А ну, как Марков будет на вахте, попробуйте, — шёпотом сказал боцман.

— А кто ответит? — спросил фельдшер. — Обезьяна-то эта фунтов тридцать стоит, на русское золото — триста рублей.

Но Храмцов сказал, что он-то ведь не обезьяна, так что душисть её насмерть не будет. А что положит, то положит.

И теперь уж шепотком, по секрету от Маркова, все переговаривались,

что Храмцов будет бороться с Тихоном, бороться будет по-русски, в обхват, и даже назначили когда. Все ждали развлечения. Небо да вода, да день в день те же вахты — невесёлая штука. А тут вдруг такой цирк!

* * *

Марков только что ушёл в машину, когда Тихона привели на бак. Возле носового трюма должна была состояться встреча.

— А он ногой захватит, — говорил Храмцов.

— А сапоги ему надеть, — советовал боцман.

Тихону на ноги надели сапоги с голенищами — это его забавляло. Он любопытно глядел на ноги, и, казалось, ему самому тоже смешно. Но Храмцов уже стал его обхватывать, командовал, как завести руки Тихона себе за спину. Тихону всё это нравилось, он послушно делал всё, что с ним ни устраивали. Пузатый, с рыжей бородёнкой, в русских сапогах на согнутых ногах, он казался весёлым деревенским шутником, что не дурак выпить и народ посмешить.



Храмцов жал, но оранг не понимал, что надо делать.

— Сейчас я ему поддам пару!

Храмцов углом согнул большой палец и стал им жать обезьяну в хребет.

Вдруг лицо Тихона изменилось — это произошло мгновенно, — губы поднялись, выставились клыки и вспыхнули глаза. Сонное благодушие как сдуло, и зверь, настоящий лесной зверь, оскалился и взъярился.

Храмцов мгновенно побелел, опустил руки. Они повисли, как мокрые тряпки, глаза вытаращились и закатились. Оранг валил его на люк и вот вцепится клыками... Все оцепенели, закаменели на местах.

— А знаешь что? — Это Асейкин хлопнул Тихона по плечу.

И вмиг прежняя благодушная морда повернулась к Асейкину. Асейкин рылся в кармане и говорил спешно:

— Сейчас, Тихон Матвейч, сию минуту... Стой, забыл, кажись...

Храмцова уже отливала водой, но он не приходил в сознание.

В лазарете он сказал Титу Адамовичу:

— Это вроде в машину под мотыль попасть. Ещё бы миг — и не было бы меня на свете. А как вы думаете, он на меня теперь обижаться не будет?

— Кто? Марков?

— Нет... Тихон Матвейч.

* * *

В Нагасаки, на пристани, уже ждала клетка. Она стояла на повозке. Агент зоопарка пришёл на пароход.

Марков просил Асейкина усадить Тихона Матвейча в клетку.

— Я не мерзавец, — сказал Асейкин и сбежал по сходне на берег.

Только к вечеру он вернулся на пароход.

Никто ему не рассказывал, как Тихон с женой вошли в клетку, — будто все сговорились, — и про обезьян больше никто не говорил во весь этот рейс.

«СИЮ МИНУТУ-С!..»

Это было в царское время.

Провожали пароход на Дальний Восток. Стояла июльская жара, и смола, которой залиты пазы в палубе, выступила и надулась чёрными блестящими жгутами меж узких тиковых досок. Поп сиял на солнце, как лужёный, в своём блестящем облаченье. Он кропил святой водой компас, штурвал. Он пошёл с капитаном вниз кропить трёхцилиндровую машину в три тысячи пятьсот лошадиных сил святой водою. Поп неловко топал и скользил каблуками по намаасленному железному трапу.

— Хорошо, что не качает! — хихикнул мичман Березин своей даме.

Дама для проводов была в шелках, в страусовых перьях. На золотой цепочке играл на солнце лорнет в золотой оправе.

— Ах, страшно, не правда ли, когда буря и ветер воет: вв-вв-ву! — завывала дама и закачала перьями на шляпке.

Но мичман Березин — не простак:

— А знаете, если нам бояться бурь...

— Неужели никаких не боитесь?

— Нам бояться некогда. — И мичман браво потрянул головой. — Моряк, сударыня, всегда глядит в глаза смерти. Что может быть страшнее океана? Зверь? Тигр? Леопард? Пожалуйста! Извольте — леопард для нас, моряков, это что для вас, сударыня, кошка. Простая домашняя киска.

Он повернулся к юту, туда, где в кормовой части парохода был шикарный салон, где сейчас буфетчик Степан со всей стариковской прыти готовил закуску и завтрак из одиннадцати блюд.

— Степан! А Степан! — крикнул мичман Березин; он взял свою даму под локоток. — Степан!

— Сию минуту-с! — Старик перешагнул высокий пароходный порог и засеменял к мичману.

— Покажи Ваську, — вполголоса приказал Березин.

— Сию минуту-с! — И старик буфетчик зашаркал начищенными для парада штиблетами в кают-компанию.

В кают-компании он крикнул на лакеев:

— Не вороти всю селёдку в ряд! Торговать, что ли, выставили! Охламоты!

Лакеи во фраках бросились к столу, а буфетчик с дивана в своей

буфетной уж звал Ваську.

Мичман Березин стоял с дамой, опершись о борт.

— Вы спрашиваете: к тигру в клетку? Родная моя! Но волна Индийского океана рычит громче! злее! свирепей! Этот тигр в десять этажей ростом. Поверьте...

Но буфетчик уже повалил перед трюмным люком плетёное кресло-кабину японской работы — целый дом из прутьев. Степан — новгородский старик с бритыми усами — держал в руках большой кусок сырого мяса.

— Готово? — спросил мичман. — Пускай!

— Сию минуточку-с!

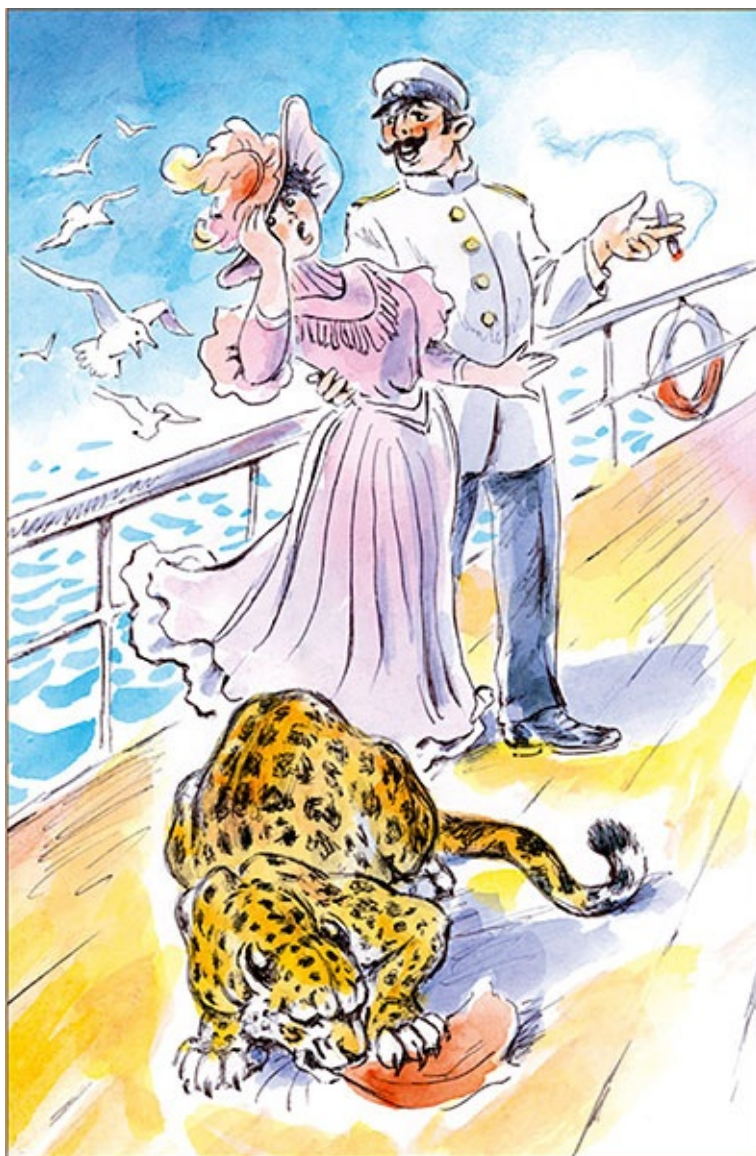
Двери кают-компании раскрылись. В двери высунулась морда. Это была аккуратная голова леопарда с большими круглыми глазами, насторожёнными, со злым вниманием в косых зрачках. Он высоко поднял уши и глянул на Березина. Дама прижалась к мичману. Березин браво хмыкнул и затаился сигарой.

— Пошёл! — скомандовал Березин, подхватив даму за талию.

— Сию минуточку-с! — отозвался буфетчик.

Он поднял мясо, чтоб его увидал леопард, и бросил его на трюмный люк, на туго натянутый брезентовый чехол, который прикрывал деревянные створки.

И в то же мгновенье леопард сделал скачок. Нет, это не скачок — это полёт в воздухе огромной кошки, блестящей, сверкающей на солнце. Леопард высоко перемахнул через поваленное кресло-кабину и точно и мягко лёг на брезент. Мясо было уж в клыках. Он зло урчал, встряхивая мордой, хвост — пушистая змея — резко бился из стороны в сторону. Он на миг замер, только ворочал глазами по сторонам. И вдруг поднялся и воровской побезжкой улепетнул. Он исчез бесшумно, неприметно.



Дама трепетно держалась за кавалера. Кавалер, осклабясь, жевал конец сигары.

— Полюбуйтесь, — не торопясь произнёс мичман; он подвёл даму к трапу. — Вот!

Там на палубе, на крепких тиковых досках, остались следы когтей — здесь оттолкнул своё упругое тело Васька.

— Вот как прыгают наши кошечки! Кись-кисть! — позвал и щёлкнул пальцами.

Дама вздрогнула и схватилась за белоснежный рукав крахмального кителя. Васька деловитой неспешной походкой прошёл по палубе. Он облизывался.

— Кись-кисть! — осторожно пропел Березин.

Васька не повёл ухом. Он ловко зацепил лапой дверь и ленивой волной

перемахнул через высокий порог кают-компанияи.

— Э, хотите, я его сейчас, каналью, сюда притащу? — Мичман двинулся от борта. — Вы его себе накинете вокруг шеи, горжетку такую. А?

Но дама крепче вцепилась в рукав мичмана и шептала:

— Не надо, прошу, я не хочу... Я уйду...

Мичман делал вид, что вырывается.

— Степан! — крикнул мичман Березин.

— Есть! Сию минуточку-с!

Буфетчик вышел из кают-компанияи, жмурясь на солнце.

— Не надо! Прошу! — сказала дама по-французски.

— Чего изволите-с? — Степан уж стоял, покачивая руку с салфеткой.

Мичман лукаво поглядел на даму. Она отвернулась, покраснела.

— Степан, у тебя... всё готово? — спросил мичман и плутовски скосился на даму.

— Графинчики не заморозившись, — полушёпотом докладывал старик, — водку надо-с как льдинку. Особо в такую жару-с. Чтоб запотевши были графинчики. Сами знать изволите-с. Они-то на льду, а я вот как на угольях: ох, быть нам не успеть!

— Ну, ступай, ступай! Не бойтесь, сударыня, это я нарочно. — И мичман взял даму под локоток. — Кись-кисть! — шепнул мичман и осторожно пощекотал локоток.

Но в это время спускались со спардека капитан и гости. Капитан — крепкий старик, лихая бородка с проседью расчёсана на две стороны. Он сиял золотыми погонами, и на солнце больно было смотреть на его белый китель.

— А вот извольте — на случай пожара. Терещенко! Навинти шланг. Живо!

Матрос бросился со всех ног.

— Ах, только не поливайте! — И дамы кокетливо испугались, приподняли юбки, как в дождь.

— Нет, теперь, батюшка, дайте уж нам покропить! — И капитан захохотал деланным баском. — Правда, мичман? По-нашему.

Мичман с дамой подошёл почтительно и поспешно. Батюшка, завернув в рот бороду, уважительно щурился на сиявшую, начищенную медь. Поливка развеселила всех. Мичман смеялся, когда немного забрызгало его даму.

— Ну, принесите же мой платок! — Дама, смеясь, надула губки. — Принесите мой ридикюль, я его оставила там, в кают-компанияи.

Мичман ловко вспрыгнул на трюмный люк и оттуда одним прыжком к кают-компания и дёрнул дверь.

— Эх, молодец он у меня! — довольным голосом сказал капитан, любуясь на молодого офицера.

Мичман Березин распахнул с размаху дверь и вдруг снова запер. Запер плотно, повернул ручку. Он неспешно шагал назад, подняв брови.

— Знаете, мне пришла мысль... — вдруг заулыбался он даме. — Мне очень-очень хотелось бы, чтоб вы воспользовались моим платком, честное слово. — И он достал из бокового кармана чистенький платочек. — Я буду его... хранить как память.

— Нет, зачем же? Я хочу свой. Ну, принесите же!

Мичман молчал, протягивая платок.

— Ради Бога! — шептал он. — Умоляю!

Капитан глядел нахмурясь.

— Быстрота и великолепие, — сказал батюшка капитану, но капитан, не оборачиваясь, кивнул наспех головой: он глядел на мичмана.

— Это неприлично-с, господин мичман! Немедленно отправляйтесь, исполните, что требует дама.

— Есть! — ответил мичман; он зашагал к кают-компания.

Все глядели ему вслед. У самых дверей он укоротил шаги. Он поворачивал ручку, дёргал её, он рвал дверь — дверь не открывалась. Он даже раз оглянулся назад. Все смотрели на него. Капитан прищурил один глаз, будто целился.

— Дверь не откроете? — крепким голосом крикнул капитан. — Мичман! — И капитан решительным шагом зашагал к двери.

— Я сама, сама! — вскрикнула дама и засемила по мокрой палубе, стараясь обогнать капитана.

Вся публика двинулась следом. Но всех обогнал Степан. Степан-буфетчик, запыхавшийся старик с графинчиками. Их по четыре торчало у каждой руки — зажатые горлами меж пальцев. Запотевшие, матовые — от ледяной водки внутри.

— Сию минуточку-с!.. Сию минуточку-с! — прищёптывал старик, юля и обгоняя гостей.

Он шлёпающей лакейской рысцой обогнал капитана; он уцепил пальцем ручку — дверь легко распахнулась. Капитан уже стоял за плечами. У самого порога, по ту сторону дверей, лениво растянувшись, блаженно спал Васька.

— Ах, вот в чём дело! — грозно сказал капитан и перевёл глаза на мичмана.

— Брысь, скотина! Брысь, брысь! — фыркнул на Ваську Степан.

Он пнул его стариковской ногой, на ходу, с досадой, и леопард прыгнул через порог и, поджав хвост, змеёй шмыгнул вон, на палубу, и исчез.

Мичман стоял опустив глаза.

— Моментально отправляйтесь на берег, — сказал капитан. — Ревизор! Списать на берег га-аспадина мичмана. Ступай-те! — И капитан повернулся к гостям.

Он не видел, как мичман большими журавлиными шагами описал на палубе дугу, обошёл для чего-то трюмный люк два раза вокруг и, не понимая, почему это он шагает, пошёл к сходне.

* * *

Завтрак из одиннадцати блюд сошёл шикарно. Капитан вышел в море с двумя помощниками, третьим стоял штурманский ученик.

А в буфетной, после тревог, в одном жилете дремал выпивший «с устатку» Степан-буфетчик.

Он развалился сидел на диванчике. На колени старику положил голову Васька. Он тёрся лбом о жилет и урчал, как кот. Старик пьяной рукой щёлкал Ваську по уху:

— Я тебя, окаянного, вскормил, вспоил с малых лет твоих — люди видели, не вру! А ты, шельма, скандалить? Скандалить? Через тебя, через блудню несчастную, человека на берег списали. А через кого? Через меня, скажешь? Тебя я, подлеца, спрашиваю: через меня? через меня?

Тут Степан хотел покрепче стукнуть Ваську по носу, но в это время ревизор крикнул из кают-компания:

— В буфет!

— Есть в буфет! Сию минуточку-с! — Степан отпихнул Ваську и стал напяливать фрак. — Сию... минуточку-с!

ДЖАРЫЛГАЧ

Новые штаны

Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: всё время смотри, чтоб не капнуло или ещё там что-нибудь. Из дому выходишь — мать выбежит и кричит вслед на всю лестницу: «Порвёшь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот всё и вышло.

Старая фуражка

Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошёл в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Всё время аккуратно, между подвод прямо змейй, чтоб не запачкаться, не садился нигде, — всё это из-за штанов проклятых. Пришёл, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет, водой, ветер с берега весёлый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.

На дубке

Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидел, подцепил удилицем, стал подымать, а она вот-вот свалится, он и стряхнул её на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок?

Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.

С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так, поскорей. Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку: очень приятно на судне. Пришлось всё-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородастый мазал дёгтем на носу машину, которой якорь поднимают.

С этого и началось

Вдруг бородастый перешёл с кисточкой на другую сторону мазать. Увидел меня да как крикнет: «Поддай ведёрко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидал ведёрко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что, у тебя руки отсохнут — подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом дёготь брызгал, чёрный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли, ведёрко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Всё пропало: брюки серые были.

Что же теперь делать?

Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородастый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул; я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведёрка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, — стоял бы я там, ничего б и не было.

Уж всё равно

А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не

глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро весь перемазался.

Пришёл третий

Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут. Я всё Опанасу помогал: то держал, то приносил, и всё делал со всех ног, кубарем. Скоро пришёл третий, совсем молодой, с мешком, принёс харчи. Стали паруса готовить, а у меня сердце ёкнуло: выбросят на берег, и мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.

Стали сниматься

А они уж всё приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу ослабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему. «Дядя Опанас, — говорю, — дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я всё буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?» Божусь, что никого у меня, — всё вру: папа у меня — почтальон. А Опанас стоит, какую-то снасть держит и смотрит не на меня, а что Григорий делает. Серdito так.

Так и остался я

Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слышал, как сходню убирают, а сам всё лопочу: «Я всё буду делать, в воду полезу, куда хотите посылайте!» А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем^[2].

Я старался изо всех сил и ни о чём не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.

Сказали — борщ варить

Потом ставить стали паруса, я всё вертелся и на берег не глядел, а когда глянул — мы уже идём, плавно, незаметно, и до берега далеко — не доплыть, особенно если в одежде.

У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.

Какой такой камбуз?

Мне стыдно было спросить, что это — камбуз. Я вижу: у борта стоит будочка, а из неё труба вроде самоварной. Я вошёл, там плитка маленькая. Нашёл дрова и стал разводить огонь. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А уж знаю, что всё кончено. И стало страшно.

Ничего уж не поделаешь...

Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И всё приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало качать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилёг на один борт и так пишет вперёд. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем всё равно, и вдруг я успокоился.

Пужинали — и спать!

Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены. И сижу с матросами.

А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся. Всё равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут.

Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай» — и показал койку.

Как в ящике

В кубрике тесно; койка — как ящик, только что без крышки. Я лёг в тряпье какое-то. А как прилёт, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо. Кажется, сейчас зальёт. Всё боялся сначала — вот-вот брызнет, особенно когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плечи не плечи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.

Вот когда началось-то!

Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топчут каблучищами, орут, а зыбью так и бьёт; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри всё судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем? И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо всё стучаюсь, в потёмках нащупал лесенку и выскочил наверх.

Пять сажений

Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять сажений, давай поворот! Клади руля! На косу идём!» Дубок толчёт, подбивает, шлёпает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, — и мне кажется, что мы на месте стоим и ещё немного, и нас забьёт эта зыбь.

Поворот

Пусть куда-нибудь поворот, всё равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слышать. А Опанас охрип, орёт с кормы: «Куда, к чертям, поворот, ещё этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»

Сели

Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот!» И так я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать, просить, чтоб поворот. Не дошёл — так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, а где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчая какая, на мель идёт!» И вдруг как потрянет всё судно, что-то затрещало, — я с ног слетел. На корме закричали, Григорий затопал по палубе. Тут ещё раз ударило о дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.

Стало светать

Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Впёрлись в Джарылгач в самый. Ещё растолчёт нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло о дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь всё ходит и через палубу. Я всё ждал, когда тонуть начнём. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.

Второй Джарылгацкий знак

Я залез в кубрик. Пощупал — сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, когда даст сильно зыбью в борт. Я вспомнил про дом: бог с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил — под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет что будет. Что-нибудь же будет!

Берег

А наверху погода ревет и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются, и Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто всё сразу спокойней стало: это от свету.

Я выскочил за Григорием на палубу. Море жёлтое и всё в белой пене. Небо наглухо серое.

А за кормой еле виден берег — тонкой полоской, и там торчит высокий столб.

Вывернуться!

Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли!» А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда: «В воду, я хоть в воду», — вот всё через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег и так страшно Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слышал за ветром и заорал на меня: «Ты что ещё там?» У меня зубы стучат, а я всё-таки крикнул: «Я на берег!»

С борта

Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмёшь не знай кого, через тебя всё и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас: «Пусть он, он!» — и прямо зверем: «Пропадём с тобой, всё равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву!» Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккурат на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой верёвки. «Вот, — говорит, — на этой верёвке пускать тебя буду. Будет плохо — назад вытяну. Ты не трусь! А доплывёшь — тyani за эту веревку, мы на ней канат поддадим, закрепи за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдём с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нём к себе на судно и вытянем». Мне так хотелось на берег, — казалось, совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну, — говорит Григорий, — вались, Хряп! Счастливо».

На доске

Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперёд так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я всё глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает песок, всё в пене. Закрутит, думаю, и убьёт прямо о песок головой. И вот всё ближе, ближе...

Зыбь лопается

Вдруг, чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут верёвка моя вдруг натянулась, и зыбь вперёд пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это Григорий с судна верёвкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревёт зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но на доске снова выплыл.

За знак

Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне всё казалось, что ещё качает, что земля подо мной ходит.

Я отвязался от доски и стал тянуть верёвку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укусынами, и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял верёвку на плечи и пошёл. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метёт песком. Еле верёвку вытащил... Смотрю, уж кончилась тонкая верёвка и канат пошёл толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лёг на песок — весь дух из меня вон, пока я тянул.

Вывернулись

Знак дрогнул. Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат, — здорово затянуло. Судно пошло, канат ушёл в воду, потянулась и верёвка; как живая змейка, так и убегает в море.



Берег ил и море?

Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой: хватайся, вытащим на верёвке, — я не знал, тут остаться или к Опанасу — и в море. Оглянулся — сзади пустой песок, а всё-таки земля. Я думал, а верёвка змейкой убегала и убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдёт! Я надумал остаться и всё-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.

Один

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся — судно было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь!

Стадо

А вдали я увидел будто стадо. Пошёл туда — ну вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шёл со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это верблюды. Я совсем близко подошёл — ни одной собаки нет. И людей тоже.

Верблюды

Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в

середины стада и пошёл вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернётся, ухмыльнётся и скажет: «А я...» Ух!.. Я отошёл и сел на песок. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несёт ветер песок, и песок звенит о камыш — звонко и тоненько.

А я один. И намедает, намедает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать стало.

И показалось мне, что меня замедает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил — и опять к верблюдам.

Избушка

Я подошёл, встал против одного верблюда. Он стоял как каменный. Я стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнёт ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся — и бежать. Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один... всё может быть. Я не оглядывался на верблюдов, а всё бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страха. И тут я увидел вдали избушку.

Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.

Мёртвое царство

В избушке ставни были закрыты, а за плетнём во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошёл избушку — никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле? И опять в меня страх вошёл. Я боялся сильно стучать, — а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь? Пока я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.

В яслях

Я стал скорей перелезть через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.

Ведро

Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из неё свет. Вдруг слышу, кто-то идёт по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»

Домовой

Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достаёт. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тётенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог. «Что ты, — говорит, — пустое болтаешь! Какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась». А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принёс через минуту фонарь. Вижу, фонарь так в руках и ходит.

Что оно такое — Джарылгач?

Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовый. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твоё имя крещёное», — «Митька, — кричу, — Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живёт, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят, и только кой-когда старик их поить приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.

Мамка

Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только всё ревела: поглядит — и в слёзы. «Я, — говорит, — тебя уж похоронила...» Ну, с отцом дома другой разговор был.

МЕХАНИК САЛЕРНО

I

Итальянский пароход шёл в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко. И вот что случилось в полночь на восьмые сутки.

Кочегар шёл с вахты спать. Он шёл по палубе и заметил, какая горячая палуба. А шёл он босиком. И вот голую подошву жжёт. Будто идёшь по горячей плите. «Что такое? — подумал кочегар. — Дай проверю рукой. — Он нагнулся, пощупал. — Так и есть, очень нагрета. Не может быть, чтобы с вечера не остыла. Неладно что-то». И кочегар пошёл сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря, только кажется? Заругает меня механик: чего будишь, только уснул».

Кочегар забоялся и пошёл к себе. По дороге ещё раз тронул палубу. И опять показалось — вроде горячая.

II

Кочегар лёг на койку и всё не мог уснуть. Всё думал: сказать — не сказать? А вдруг засмеют? Думал, думал, и стало казаться всякое, жарко показалось в каюте, как в духовке. И всё жарче, жарче казалось. Глянул кругом — все товарищи спят, а двое в карты играют.

Никто ничего не чует. Он спросил игроков:

— Ничего, ребята, не чуете?

— А что? — говорят.

— А вроде жарко.

Они засмеялись:

— Что ты, первый раз? В этих местах всегда так. А ещё старый моряк! Кочегар крикнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А

что, как беда идёт? И наутро уже поздно будет? Все пропадём. Океан кругом на тысячи вёрст. Потонем, как мыши в ведре».

Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему ещё горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошёл и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул:

— Что случилось? — и вскочил на ноги. — Опять там подрались?

А кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет:

— Попробуйте палубу, синьор Салерно.

Механик головой спросонья крутит — всё спокойно кругом. Пароход идёт ровным ходом. Машина мурлычет мирно внизу.

— Рукой палубу троньте, — шепчет кочегар, схватил механика за руку и прижал к палубе.

Вдруг механик отдернул руку.

— Ух, чёрт, верно! — сказал механик шёпотом. — Стой здесь, я сейчас.

Механик ещё два раза пощупал палубу и быстро ушёл наверх.

III

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана.

Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями.

Механик запыхался от скорого бега.

— Капитан, капитан! — говорит механик.

— Что случилось? — И капитан придвинулся вплотную, глянул в лицо механику и сказал: — Ну, ну, пойдёмте в каюту.

Капитан плотно запер дверь. Закрыл окно и сказал механику:

— Говорите тихо, Салерно. Что случилось?

Механик перевёл дух и стал шептать:

— Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и эти бочки.

— Тсс! — сказал капитан и поднял палец. — Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горячая? — Салерно кивнул головой. — Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали? — спросил

капитан.

— Мне сказал кочегар. Я сам пробовал рукой. — Механик тронул рукой пол. — Вот так. Здорово...

Капитан перебил:

— Команда знает?

Механик пожал плечами.

— Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их двести пять человек. Начнётся паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить.

Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был весёлый говор. Какая-то дама громко хохотала.

IV

— Идти спокойно, — сказал капитан механику. — На палубе — ни звука о трюме. Где кочегар?

Кочегар стоял, где приказал механик.

— Давайте градусник и верёвку, Салерно, — сказал капитан и закурил. Он спокойно осматривался кругом. Какой-то пассажир стоял у борта.

Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску. Стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт.

Механик Салерно подошёл с градусником на верёвке.

— Пусть кочегар смерит, — приказал капитан шёпотом.

Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошёл и спросил больным голосом:

— Ах, что это делают! Зачем, простите, эта верёвка? Верёвка, кажется? — И он стал щупать верёвку в руках кочегара.

— Ну да, верёвка, — сказал капитан и засмеялся. — Вы думали, змея? Это, видите ли... — Капитан взял пассажира за пуговку. — Иди, — сказал капитан кочегару. — Это, видите ли, — сказал капитан, — мы всегда в пути мерим. С палубы идёт труба до самого дна.

— До дна океана? Как интересно! — сказал пассажир.

«Он дурак, — подумал капитан. — Это самые опасные люди».

А вслух рассмеялся:

— Да нет! Труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет.

Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма. Но пассажир не унимался.

— Значит, пароход течёт, он дал течь? — вскрикнул пассажир.

Капитан расхохотался как мог громче:

— Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Её нарочно запасают.

— Ай, значит, мало осталось! — И пассажир заломил руки.

— Целый океан! — И капитан показал за борт.

Он повернулся и пошёл прочь. Впотымах он заметил пассажира.

Роговые очки, длинный нос. Белые в полоску брюки. Сам длинный, тощий. Салерно чиркал у трюма.

V

— Ну, сколько? — спросил капитан. Салерно молчал. Он выпучил глаза на капитана.

— Да говорите, чёрт вас дери! — крикнул капитан.

— Шестьдесят три, — еле выговорил Салерно.

И вдруг сзади голос:

— Святая Мария, шестьдесят три! Капитан оглянулся. Это пассажир, тот самый.

Тот самый, в роговых очках.

— Мадонна путана! — выругался капитан и сейчас же сделал весёлое лицо. — Как вы меня напугали! Почему вы бродите один? Там наверху веселее. Вы поссорились там?

— Я нелюдим, я всегда здесь один, — сказал длинный пассажир.

Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир всё спрашивал:

— Неужели шестьдесят? Боже мой! Шестьдесят? Это ведь правда?

— Чего шестьдесят? Вы ещё не знаете чего, а расстраиваетесь. Шестьдесят три сантиметра. Этого вполне хватит на всех.

— Нет, нет! — мотал головой пассажир. — Вы не обманете! Я чувствую.

— Выпейте коньяку и ложитесь спать, — сказал капитан и пошёл наверх. — Такие всегда губят, — бормотал он на ходу. — Начнёт болтать,

поднимет тревогу. Пойдёт паника.

Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьётся, ревёт. Это бунт в сумасшедшем доме.

«Этот длинный — спичка в соломе», — подумал капитан и пошёл к себе в каюту. Салерно ждал его там.

VI

— Вы тоже! — сказал сквозь зубы капитан. — Выпучили глаза — утопленник! А этого болвана не увидели? Он суётся, носится за мной. Нос свой тычет, тычет, — капитан тыкал пальцем в воздух. — Он всюду, всюду! А нет его тут? — И капитан открыл двери каюты.

Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло:

— Тут, тут, вот он. Говорите шёпотом, Салерно. Я буду напевать.

— Шестьдесят три градуса, — шептал Салерно. — Вы понимаете? Значит...

— Градусник какой? — шепнул капитан и снова замурлыкал песню.

— С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?

Капитан вскинул руку:

— Ни за что! Соберётся пар, взорвёт люки.

Кто-то тронул ручку двери.

— Кто там? — крикнул капитан.

— Можно? Минуту! Один вопрос! — Из-за двери всхлипывал длинный пассажир.

Капитан узнал голос.

— Завтра, дружок, завтра, я сплю! — крикнул капитан.

Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет.

Прошла минута. Капитан шёпотом приказал Салерно:

— Первое: дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов,

ни машины. Пусть её хватит на три дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идёмте к матросам.

Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках.

— Салерно, — сказал капитан на ухо механику, — занимайте этого идиота чем угодно! Что хотите! Играйте с ним в чехарду! Анекдоты! Врите! Но чтобы он не шёл за мной. Не спускайте с глаз!

Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу.

— Буди всех! Всех сюда! — приказал капитан. — Только тихо.

Вскоре в кубрик собралось восемнадцать кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались.

— Все? — спросил капитан.

— Остальные на вахте, — сказал боцман.

VII

— Военное положение! — крепким голосом сказал капитан.

Люди глядели и не двигались.

— Дисциплина — вот. — И капитан стукнул револьвером по столу. Обвёл всех глазами. — На пароходе пожар.

Капитан видел: бледнеют лица.

— Горит в трюме номер два. Тушить поздно. До опасности осталось три дня. За три дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Салерно. Его слушаться. Пассажирам говорить так: капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре — пуля на месте. Между собой — об этом ни слова. Поняли?

Люди только кивали головами.

— Кочегары! — продолжал капитан. — Спасенье в скорости. Не жалеть сил!

Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал: Салерно стоял перед пассажиром. Старик механик выпятил живот и покачивался.

— Уверю вас, дорогой мой, слушайте, — пыхтел механик, — уверяю, это в Алжире... ей-богу... и арапки... танец живота... Вот так!

Пассажир мотал носом и вскрикивал:

— Не верю, ведь ещё семь суток плыть!
— Клянусь мощами Николая Чудотворца! — Механик задыхался и вертел животом.
— Поймал, поймал! — весело крикнул капитан.
Механик оглянулся. Пассажир бросился к капитану.
— Все там играли в карты. И все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Салерно. И потяжелее. Бездельники все они! Всё! Пусть делают что угодно. Стругают. Пилят. Куют. Идите, Салерно. По горячему следу. Застегните китель!

VIII

— Идёмте, синьор. Вы мне нравитесь... — Капитан обхватил пассажира за талию.
— Нет, я не верю, — говорил пассажир упрямо, со слезами. — У нас есть пассажир. Он — бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете.
Пассажир рвался вперёд.
— Вы не хотите сказать. Тайна! Тайна!
— Я скажу. Вы правы — случилось, — сказал тихо капитан. — Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не слышат.
Капитан облокотился на борт. Пассажир стал рядом.
— Я вам объясню подробно, — начал капитан. — Видите вы вон там, — капитан перегнулся за борт, — вон вода бьёт струей? Это из машины за борт.
— Да, да, — сказал пассажир, — теперь вижу.
Он тоже глядел вниз. Придерживал очки.
— Ничего не замечаете? — сказал капитан.
Пассажир смотрел всё внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и толкнул за борт. Пассажир перевернулся через голову. Исчез за бортом. Капитан повернулся и пошёл прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик. Отплюнул на сажень. Ломал спички, пока закуривал.

Капитан пошёл наверх и дал распоряжение: повернуть на север. Он сказал старшему штурману:

— Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путём ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь.

Машина будто встрепенулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом — так сильно вертела машина.

Через час Салерно доложил капитану:

— Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина даёт восемьдесят два оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклёпаны. Если котлы выдержат... — И Салерно развёл руками.

— Тогда постарайтесь дать восемьдесят пять оборотов. Только осторожно, осторожно, Салерно. Машина сдаст — и мы пропали. Люди спокойны?

— Они молчат и работают. Пока что... Их нельзя оставлять. Там второй механик. Третий — в машине. Фу!

Салерно отдувался. Он снял шапку. Сел на лавку. Замотал головой. И вдруг вскочил:

— Я смерю, сколько градусов.

— Не смей! — оборвал капитан.

— Ах да, — зашептал Салерно, — этот идиот! Где он? — И Салерно огляделся.

Капитан не сразу ответил.

— Спит. — Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному: — Третьего штурмана ко мне!..

— Слушайте! Гропани, вам двадцать пять лет...

— Двадцать три, — поправил штурман.

— Отлично, — сказал капитан. — Вы можете прыгать на одной ножке? Ходить колесом? Сколько есть силы, забавляйте пассажиров! Играйте во все дурацкие игры! Чтобы сюда был слышен ваш смех! Ухаживайте за дамами. Вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом. Лайте собакой. Мне наплевать. Третий механик вам в помощь, на весь день. Я вас научу, что врать.

— А вахта? — И Гропани хихикнул.

— Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурость сыпьте. Как из мешка. А

теперь спать!

— Есть! — сказал Гропани и пошёл к пассажирам.

— Куда? — крикнул капитан. — Спать!

X

Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. «Восемьдесят пять оборотов», — доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа.

Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в жёлтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику.

— Капитан, капитан! Ведь солнце взошло справа, оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс. Правда? — говорили в два голоса и пассажир и священник.

Гропани быстро взбежал наверх.

— О, конечно, конечно! — говорил Гропани. — Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлёбка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет.

Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса.

— Да, да, — говорил Гропани, — там дамы хозяйничают, как у себя дома.

— А есть-то что? — спросила дама.

— Рыбу! Они рыбу ловят! — спешил Гропани. — И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят. Как куры. И петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!»

— Вздор! Вздор! — смеялась дама.

А Гропани бил себя в грудь и кричал:

— Клянусь вам всеми спиртными напитками!

Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой.

— Господа, пока не жарко, партию в гольд! — кричал он по-французски и вертел чёрными глазами.

— Будьте мужчиной, — говорил испанец и тряс за руку Гропани, —

приглашайте дам!

— Одну партию до кофе! Умоляйте! — Испанец стал на колени и смешно шевелил острыми усами.

— Вот так и будете играть, — крикнул Гропани, — на коленях!

— Да! Да! На коленях! — закричали дамы.

Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал: «Приглашайте дам!»

Гропани поклонился аббату и сделал руку кренделем:

— Прошу.

Аббат замахал рукой.

— Ах, простите, я близорук.

Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра; на палубе начертили крестики. Клюшками толкали шашки.

XI

— Сегодня особенно трясёт, — вдруг сказал испанец. — Я чувствую коленками. Не правда ли?

Все минуту слушали.

— Да вы посмотрите, как мы идём! — крикнул Гропани.

Публика хлынула к борту.

— Это секрет, секрет, — говорил Гропани; он поднял палец и прищурил глаз.

— Матео! — крикнул Гропани вниз. — Скорей, скорей, бегом!

Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, чёрный. Совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками.

— Гой! — крикнул Гропани, и механик с разбегу прыгнул через испанца.

Все захлопали в ладоши.

— Слушай, секрет можно сказать? — спросил Гропани. — Нам не влетит?

— Беру на себя, — сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на тёмном лице.

Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен.

— Наш капитан, — начал тихим голосом механик, — через два дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и

должны поздравлять старика. Часа три стоим все, поздравляем, всё равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать. А то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает, морской пикник, — совсем тихо прибавил механик. — Только, чур, молчок! — И он волосатой рукой прикрыл рот.

— Ох, интересно! — говорили дамы.

Буфетчик звонил к кофе.

Механик и Гропани отошли к борту.

— У нас в кочегарке, — быстрым шёпотом сказал механик, — переборка нагрелась — рука не терпит. Как уютно. Понимаешь?

— А трюм нельзя открыть, — сказал Гропани. — Войдёт воздух, и сразу всё вспыхнет.

— Как думаешь, продержимся два дня? Как думаешь? — Механик глянул в самые глаза Гропани.

— Пожар, можем задохнуться в своём дыму, — сказал Гропани, — а впрочем, чёрт его знает.

Они пошли на мостик. Капитан их встретил.

— Идите сюда, — сказал капитан.

Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую.

— Вот шарик. — Капитан поднёс шарик к носу механика. — Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите — это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы... Дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик! — И капитан ткнул рулетку механику.

Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. Две пары уже танцевали.

XII

Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота.

— Ни минуты, ни секунды не терять! — говорил старик Салерно; он помогал срывать толстые брусья. — Потом покурите, потом! — пыхтел старик.

— Ну, чего стал? — крикнул Салерно молодому матросу.

— Вот оттого и стал! — во всю глотку крикнул молодой матрос.
Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и матроса. Стало тихо. И стало слышно весёлую музыку.
— Ты это что же? — сказал Салерно; он с ключом в руке пошёл на матроса.
— Там танцуют, а мы тут кишки рвём! — Матрос подался вперёд с топором в руке. — Давай их сюда! — кричал матрос.
— Верно, правильно говорит! — загудели матросы.
— Кому плоты? Нам шлюпок хватит.
— А плоты пусть сами себе делают.
Все присунулись к Салерно, кто с чем: с молотком, с топором, с долотом. Все кричали:
— К чёрту! Довольно! Баста! Остановить пароход! К шлюпкам!
Один уже бросился к трапу.
— Стойте! — крикнул Салерно и поднял руку.
На миг затихли. Остановились.
— Братья матросы! — сказал с одышкой старик. — Ведь там пассажиры. Мы взяли их свезти... А мы их... выйдет... выйдет... погубим... Они ведь ехать сели, а не тонуть...
— А мы тоже не гореть нанялись! — крикнул молодой матрос в лицо механику.
И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу.

XIII

Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу. Шёл к мостику и прислушивался.
«Бунт, — подумал капитан. — Они бьют Салерно. Пропало всё. Уйму, а нет — взорву к чёрту пароход, пропадай всё пропадом!»
И капитан быстро зашагал к люку.
Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан толкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана.



— Назад! — рявкнул капитан.

Люди попятились. Капитан спустился вниз.

— Чего смотреть?! — крикнул кто-то.

Народ встрепенулся.

— Молчать! — сказал капитан. — Слушай, что я скажу.

Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели. Жарко дышали. Ждали.

— Не будет плотов — погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились.

Двести пять живых душ. Нас сорок восемь человек...

— А мы их свяжем, как овец! — крикнул матрос с топором. — Клянусь вам!

— Этого не будет! — крепко сказал капитан. — Ни один мерзавец не

тронет их пальцем. Я взорву пароход!

Люди загудели.

— Убейте меня сейчас! — Капитан сунулся грудью вперёд. — И суньтесь только на палубу — пароход взлетит на воздух! Всё готово, без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить двести душ — и женщин, и малых детей. Даю слово: погибнете вместе. Все до одного.

Люди молчали. Кто опустил вниз злые глаза, а кто глядел на капитана и кивал головой.

Капитан с минуту глядел на людей.

Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил:

— Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На шесть часов работы. У нас ведь есть сутки. Двадцать четыре часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье — они погубят себя. Нам вручили их жизнь. Товарищи моряки! — громко крикнул капитан. — Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом! Скажите только: «Мы их погубим», — капитан обвёл всех глазами, — и я сейчас пущу себе пулю в лоб. Тут, на трапе. — И капитан сунул руку в карман.

Все загудели глухо, будто застонали.

— Ну так вот, вы — честные люди, — сказал капитан. — Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее — и спать. А наши дети, — капитан кивнул наверх, — пусть играют, вы их спасёте, и будет навеки вам слава, морякам Италии. — И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо.

— Bravo! — крикнул молодой матрос.

Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами взбегал по трапу.

— Гропани! — крикнул капитан на палубе. Штурман бежал навстречу. — Идите вниз, — говорил капитан, — работайте с ними во всю мочь! И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют? Ладно. Я пришлю за вами, в случае если станут скучать. Ну, живо!

— Есть! — крикнул Гропани и бегом бросился к люку.

XIV

Капитан прошёл в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой и подпёр бока. «Держаться, держаться, — говорил капитан, — что

есть сил держаться! Сутки одни, одни только бы сутки!» И нисколько не легче становилось капитану. Он знал: не за сутки, а за один час, за минуту всё может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором: «Пожар!» — и готово. «Дали им вина?» — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут влетел в каюту Салерно. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти.

Тряс и всё глядел в глаза, и лицо у старика кривилось и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку.

— Что ты? — Капитан первый раз заговорил с ним на «ты». — Что ты? Салерно...

Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся.

— Минуту! — говорил старик.

Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка. Обливался. Другой рукой он держал капитана.

— Ведь я умру подлецом, — говорил старик сквозь слёзы. — Пожар не потухнет. В этих бочках, ты не знаешь, — в них бертолетова соль!

— Как?! — спросил капитан. — Ведь ты сказал — хлорноватая какая-то соль...

— Да, да! Это и есть бертолетова. Я не соврал. Но я знал, что ты не поймёшь.

— Я спрашивал ведь тебя: не опасно? А ведь это — взрыв!..

— Нет, нет, — плакал старик, — не взрыв! Её нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильней, сильней всё горит. — Старик умоляюще глядел на капитана. — Ну, прости, прости хоть ты, Господи! — Старик ломал руки. — Никто, никто не простит... — И Салерно искал глазами по каюте. — Мне дали триста лир, чтобы я устроил... дьявол дал... эти двадцать бочек. Что же теперь? Что же? — Салерно глотал воздух ртом. — Иисусе святой, милый, дорогой...

— Идите к аббату, приложите к его рясе. Нет? Тогда вот револьвер — стреляйтесь! — сказал капитан и брякнул на стол браунинг.

Старик водил выпученными глазами.

— Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде.

— Капитан, — хрипло сказал Салерно, — на градуснике... вчера было не семьдесят восемь, а восемьдесят семь...

Капитан вскинул брови, вздрогнул.

— Я не мог сказать... — Старик рухнул с койки, стал на колени.

Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

Капитан взял верёвку с градусником. Он сам смерил температуру — было 88 градусов.

Маленький механик подошёл и сказал (он был в одной сетке, мокрый от пота):

— На переборке краска закудрявилась, барашком пошла, но мы поливаем... Полно пару... Люди задыхаются... Работаем мы со вторым механиком...

Капитан подошёл к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только — лязгают лопаты, стучают скребки. Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару.

Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Чёрный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперёд. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех.

— Споёмте молитву, — говорил испанец. — Его преподобию будет приятно.

Испанец дал тон.

Капитан быстро пошёл вниз, к матросам.

— Сейчас готово! — крикнул навстречу Гропани.

Он, голый до пояса, долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло садил топором.

— Баста! Довольно уж! — кричал ему судовой плотник.

Салерно, красный, мокрый, озирался вокруг.

— Ещё по бутылке вина, — сказал капитан. — Выпить здесь — и по койкам. Двое — в кочегарку, помогите товарищам. Они в аду. Вахта по часу.

Все бросили инструменты. Один Салерно всё стоял с топором. Он ещё два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись.

Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипла к ногам. Чёрные следы шли по палубе.

Солнце зашло.

Яркими огнями вспыхнул салон; оттуда мирно мурлыкал пассажирский говор. Гропани догнал капитана.

— Я доложу, — весело говорил Гропани, — очень здорово, то есть замечательные плоты, говорю я... а Салерно...

— Видел всё, — сказал капитан. — Готовьте провизию, воду, фляги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же...

— А Салерно чудак, ей-богу! — крикнул Гропани и побежал хлопотать.

XVI

Ночью капитан пошёл мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал: нет, ничего — это урчит машина. Её слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться: вот сейчас, через минуту, пароход не выдержит. Взорвётся люк, полыхнёт пламя — и конец: крики, вой, кровавая каша. Почём знать: дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса.

Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе. Глядел на часы. До рассвета было ещё далеко. Внизу Гропани купорил в бочки сухари, консервы. Салерно возился тут же. Он слушал Гропани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажи скорее, и я в воду брошусь!»

Около полуночи капитану доложили — двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина всё вертелась, и пароход летел напрямик к торной дороге.

Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там в горячем пару звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали.

Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задышался в пару.

— Валяй, валяй, сейчас конец, — говорил капитан.

Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на

палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки.

Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошёл. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт.

— Я не приказывал готовить шлюпок, — тихим голосом сказал капитан.

Они молчали и продолжали дело.

— На таком ходу шлюпки не спустить, — сказал капитан чуть громче. — Погибнете сами и загубите шлюпку.

Капитан сдерживал сердце: нельзя подымать тревогу.

Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить.

Двое сели в шлюпку. Двое других готовились спускать.

— А, дьявол! — вскрикнул один в шлюпке. — Нет вёсел. Они запрятали вёсла и паруса. Всё. Давай вёсла! — крикнул он в лицо капитану. — Давай!

— Не ори, — сказал тихо капитан, — выйдут люди, они убьют вас!

И капитан отошёл в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось три часа. Капитан увидел ещё фигуру: пригляделся — Салерно. Старик, полуголый, шёл шатаясь.

Он шёл прямо на капитана. Капитан стал.

— Салерно!

Старик подошёл вплотную.

— Что мне теперь делать? Прикажите.

Салерно глядел сумасшедшими глазами.

— Оденьтесь, — сказал капитан, — причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты.

Салерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил: было почти 90 градусов.

Капитану хотелось подогнать солнце. Вывернуть его рычагом наверх. Ещё 2 часа 45 минут до света. Он прошёл в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники.

Кто-то в углу копался в своём сундучке. Капитан поманил пальцем боцмана. Боцман вскочил. Тревожно глядел на капитана.

— Вот порядок на утро, — тихо сказал капитан.

И он стал шептать над ухом боцмана.

— Есть... есть... — приговаривал боцман.

Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось ещё умереть. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Что за чёрт! Он взял рукой за низ и

отдёрнул руку: пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве увидал: ртуть упёрлась в самый верх. Градусник лопнул.

У капитана захватило дух. Дрогнули колени первый раз за всё это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчужал. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Лёгкий дымок шёл из рук. И тут капитан увидел: тлеет местами верёвка. И сразу понял: труба раскалилась докрасна в трюме. Пожар дошёл до неё.

Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть всё время идёт из шланга. Тут под трюмом пар шёл от палубы. Капитан зашёл в каюту Салерно. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из ворота, увидал капитана. Замер.

— Дайте химию, — сказал капитан сквозь зубы. — У вас есть химия?

Салерно схватил с полки книгу — одну, другую...

— Химии... химии... — бормотал старик.

Капитан взял книгу и вышел вон. «Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу.

«Взрывается при ударе, — прочёл капитан про бертолетову соль, — и при внезапном нагревании».

— А вдруг там попадёт так... что внезапно... А, чёрт!

Капитан заёрзал на стуле. Глянул на часы: до рассвета оставалось двадцать семь минут.

XVII

Остановить пароход в темноте — все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвётся? В какую из двадцати семи? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии?

Капитан дёрнулся смерить, вспомнил и топнул с сердцем в палубу.

Теперь капитан как закаменел: шёл твёрдо, крепким шагом. Как живая статуя. Он прошёл в кубрик.

— Буди! — сказал капитан боцману. — Двоих на лебёдки! Плоты на палубу! Собирайте!

Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни: красный

и зелёный. Яркие, напряжённые. Капитан уже слышал сзади возню, гроханье брусьев. Тарахтела лебёдка. Вспыхнула грузовая люстра.

— Гропани, к пассажирам! — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерно. — Салерно, ко мне! — крикнул капитан. — Вы распоряжайтесь спуском плотов. И ни одной ошибки!

Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. Одиннадцать шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось семнадцать минут. Но восток глухо чернел справа.

— Всех наверх! — сказал капитан маленькому механику. — Одного человека оставить в машине.

Пароход нёсся, казалось, ещё быстрее: напоследки — очертя голову.

Капитан вышел на мостик.

— Определитесь по звёздам, — сказал он старшему штурману, — надо точно знать наше место в океане.

Лёгкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Салерно точно, без окриков, руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря.

— Стоп машина! — приказал капитан.

И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону ещё нёсся вперёд. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьёзно кивнул головой, и люди вцепились в работу.

XVIII

Аббат проснулся.

— Мы, кажется, стоим, — сказал он испанцу и зажёг электричество.

Испанец быстро стал одеваться. Поднимались и в других каютах.

— Ах да! Именины! — кричал испанец.

Он высунулся в коридор и крикнул весёлым голосом:

— Дамы и кавалеры! Пожалуйста! Прошу! Все в белом! Непременно!

Все собрались в салоне. Гропани был уже там.

— Но почему же так рано? — говорили нарядные пассажиры.

— Надо приготовить пикник, — громко говорил Гропани, а потом шёпотом: — Возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадёжна.

Пассажиры пошли рыться в чемоданах.

— Я боюсь, — говорила молодая дама, — в лодках по волнам...

— Со мной, сударыня, уверяю, не страшно и в аду, — сказал испанец.

Он приложил руку к сердцу. — Идёмте. Кажется, готово!

Гропани отпер двери.

Пароход стоял. Пять плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом.

Команда стояла в два ряда. Между людьми — проход к трапу.

Пассажиры спустились на нижнюю палубу.

Капитан строго глядел на пассажиров.

Испанец вышел вперёд под руку с дамой. Он улыбался, кланялся капитану.

— От лица пассажиров... — начал испанец и шикарно поклонился.

— Я объявляю, — перебил капитан крепким голосом, — мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины, не трогаться с места! Под страхом смерти.

Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые.

— Женщины, вперёд! — скомандовал капитан. — Кто с детьми?

Даму с девочкой подталкивал вперёд Гропани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Салерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам.

— Все? — спросил капитан.

— Да. Двести три человека! — крикнул снизу Салерно.

Команда молча, по одному, сходила вниз.

Плоты отвалили от парохода, лёгкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и вёслами пошла вперёд. Капитан сказал Гропани:

— Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты!

Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шёл лёгкий дым.

Прошло два часа. Солнце уже высоко поднялось, скрылась из глаз шлюпка Гропани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мёртвый, брошенный, он покачивался на зыби.

«Что же это?» — думал капитан.

— Зачем же мы уехали? — крикнул ребёнок и заплакал.

Капитан со шлюпки оглядывался то на ребёнка, то на пароход.

— Бедный, бедный... — шептал капитан. И сам не знал — про ребёнка или про пароход.

И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя.

Гомон, гул пошёл над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаили дыхание...

Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно: горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слёзы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрывался.

Вечером виден был красный остов.



Он рдел вдали. Потом потухло. Капитан долго ещё глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плотках пассажиры.

На третьи сутки к вечеру пришёл пароход. Гропани встретил на борту капитана.

Люди перешли на пароход. Недосчитались старика Салерно. Когда он пропал, — кто его знает.



Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

С 1948 года Цейлон получил права доминиона (самоуправляющаяся часть Британской империи).

Брашпиль — специальная лебёдка для подъёма якоря.